

## ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУР

# Д Н Е В Н И К

## ВОСПОМИНАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Перевод с французского НАДЕЖДЫ ЖАРКОВОЙ

Девять томов Дневника братьев Гонкуров охватывают период с 1851 по 1895 год. Дневник в большой мере раскрывает психологию гонкуровского творчества, включает в себя множество тонких литературно-критических высказываний, воссоздает живые образы обоих писателей.

Братья Гонкуры встречались и были в близкой дружбе с крупнейшими представителями французской литературы и искусства. Исключительный интерес представляют те страницы Дневника Гонкуров (особенно Эдмона Гонкура, продолжавшего вести дневник и после смерти брата в 1870 году), которые относятся к их многочисленным встречам. Тонкие мастера, психологи, наблюдательные люди,—Гонкуры доносят до нас атмосферу литературной жизни тех лет. Перед нами возникают живые образы Гюго, Сент-Бева, Золя, Флобера, Додэ, Мопассана и др. Очень ценны эти записи свежих впечатлений о людях, впечатлений, не искаженных временем.

В Дневнике записаны многочисленные литературные беседы, встречи в салоне принцессы Матильды, на обедах у Маньи, где собиралась блестящая плеяда мастеров литературы и искусства — Флобер, Ренан, Тэн, Жорж Санд. Позднее — это собрания у старшего Гонкура в его, ставшей знаменитой, мансарде.

В «Дневнике» превосходно отражен тот дух безвременья, тот пессимизм, который охватил часть французских писателей во второй половине XIX века и ярче всего выразился в творчестве и письмах Флобера. Ненавидя буржуазную цивилизацию с ее пошлостью,

прозаичностью и властью денег и перенося свое отвращение на социальную жизнь вообще, эти писатели уходили все дальше от народной почвы. Они стремились замкнуться в узкий круг «избранных», в интеллектуальный аристократизм. Чувством одиночества, оторванности от социальной жизни и аристократическим презрением к ней пронизаны высказывания Гонкуров и в частности их оценки радикальных явлений в литературе.

В своих записях авторы Дневника не могли отрешиться от субъективных вкусов и симпатий и стать правдивыми летописцами, как это хочет внушить читателю Эдмон Гонкур. Известен, например, протест Ренана против искажения его мыслей, зафиксированных в Дневнике. Но это, конечно, не исключает значения и интереса гонкуровских записей.

Мы печатаем отрывки, представляющие наибольший интерес не только для специалиста, но и для любого советского читателя. Они главным образом посвящены встречам Гонкуров с людьми, сыгравшими огромную роль в создании французской прозы XIX века.

Из всего материала девятитомного Дневника на русском языке лишь однажды появилось около 12 листов в 1898 году, в издании журнала «Северный вестник». Это избранные страницы, в большинстве своем интересные, но, конечно, не исчерпывающие и малой доли материала Дневника.

Печатаемые нами отрывки (за исключением предисловия, которое приводится нами для более целостного впечатления), публикуются на русском языке впервые.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот дневник — наша ежевечерняя исповедь: исповедь двух жизней, нераздельных в радости, в труде, в горе, двух сходных мышлений, двух умов, получающих от общения с людьми и вещами впечатления столь одинаковые, столь тождественные, столь однородные, что исповедь эту можно рассматривать, как изливание, исходящее от единого «меня» и от единого «я».

В этой автобиографии изо дня в день выступают люди, которых случай поставил на нашем жизненном пути. Мы «зарисовали» этих мужчин, этих женщин такими, какими они были в тот день и в тот час; мы возвращались к ним по ходу нашего дневника, показывая их позднее в иных аспектах и сообразно тому, как они изменялись и преображались, не желая подражать сочинителям мемуаров, которые выводят исторические персонажи, рисуя их всех скопом и высекая из одного куска, или же так, что краски бледнеют в силу дальности и ухода этой встречи в прошлое — словом, мы хотели изобразить переменчивое человечество в его «мгновенной» правде.

Но не проистекают ли иной раз перемены, приписываемые близким и дорогим нам людям, от перемен, происшедших в нас самих? Вполне возможно! Мы не скрываем, что сами были людьми страстными, нервными, болезненно-чувствительными и поэтому иногда несправедливыми. Но в одном можем заверить читателя, что если иной раз мы и допускали несправедливость в силу предубеждения или в силу ослепления необоснованной антипатией, мы никогда не лгали сознательно.

Итак, мы стремились к тому, чтобы воскресить перед потомством наших современников в их живом подобии, оживить их через пламенную стенограмму бесед, через физиологическую неожиданность жеста, через те незначительные проявления страстей, в которых обнаруживается личность, через то непередаваемое, в котором раскрывается биение жизни, наконец, через изображение, хотя бы и неполное, лихорадочного и опьяняющего парижского существования.

И в этом труде, который прежде всего притязает на то, чтобы «подавать жизнь» по не остывшим еще воспоминаниям, в труде, набросанном наспех на бумагу и не всегда перечитывавшемся, — ка-

ков бы ни был этот синтаксис, выбранный наудачу, и эти незаконные слова — мы всегда отдавали предпочтение фразам и выражениям, которые менее всего притупляли бы и «академизировали» живость наших впечатлений, смелость наших мыслей.

Этот дневник был начат 2 декабря 1851 года, когда поступила в продажу наша первая книга, появившаяся в самый день государственного переворота.

Рукопись вся целиком написана моим братом под нашу, если так можно выразиться, общую диктовку: таков был метод работы над этими «Воспоминаниями».

Когда умер мой брат, я считал наш литературный труд как бы законченным, и потому решил запечатать дневник на дате 20 января 1870 года на последних строках, начертанных его рукой. Но меня стало мучить горькое желание рассказать самому себе последние месяцы жизни и смерть моего дорогого несчастного брата, а вслед за тем, трагические события осады и Коммуны побудили меня продолжать этот дневник, который и сейчас еще время от времени служит мне поверенным моих мыслей.

Эдмон де Гонкур

Шлирзее, август 1872 года.

## 1855

Понедельник, 26 марта. Гаварни рассказывал нам, что в первый раз он видел Бальзака в редакции «Мод» у Жирардена. Это был человек небольшого роста, кругленький, с красивыми черными глазами, с вздернутым, немного приплюснутым носом, говоривший много и очень громко. Гаварни принял его за приказчика из книжной лавки.

Он рассказывал нам еще, что у Бальзака, если смотреть сзади, от головы до пяток шла одна прямая линия с единственным выступом у икр; если же смотреть спереди, он казался настоящим пиковым тузом. И Гаварни даже разрезал карту, чтобы показать нам точные очертания его фигуры.

13 октября. Бальзак сказал как-то на вечере у Гаварни: «Мне хотелось бы в один прекрасный день стать обладателем такого известного, такого популярного, такого знаменитого и славного имени,



Эдмон и Жюль де Гонкур  
(Портрет работы Гаварни)

чтобы я мог...» Представьте себе самое великое притязание, которое только могло взбрести человеку на ум с тех пор, как существует мир, притязание самое невозможное, самое неосуществимое, самое чудовищное и самое олимпийское, которого не было ни у Людовика XIV, ни у Наполеона; какое Александр Великий не мог бы удовлетворить в Вавилоне, недоступное ни диктатору, ни спасителю наций, ни папе, ни владыке мира. Он же, Бальзак, просто сказал: «...такого знаменитого, такого славного имени, чтобы я мог, находясь в обществе, испортить воздух, и все сочли бы это вполне естественным».

1856

30 мая. Когда Мюрже написал «Жизнь богемы», он никак не подозревал, что пишет историю общественного слоя, который должен будет стать силой через пять или шесть лет, а, однако, сейчас дело обстоит именно так. Это общество, эти «вольные каменщики» рекламы царят и правят и преграждают дорогу всякому человеку благородного происхождения. Он ведь любитель, и этим словом его убивают, хотя бы он поглотил целые томы бенедиктинцев или был даже наделен фантазией Генриха Гейне. Да, ничего не поде-

лаешь, это любитель и он будет ославлен любителем всеми борзописцами бульварных листков. Хотя этого и никто не подозревает, но пришествие «Богемы» это — власть социализма в литературе.

16 июля. После чтения Эдгара По открывается нечто, о чем критика, кажется, даже и не подозревает. Эдгар По — новая литература, литература XX века: научное чудо, построение фабулы через  $A + B$ ; литература одновременно маниакальная и математическая. Воображение, идущее от анализа, Задиг — в качестве судебного следователя, Сирано де Бержерак в роли ученика Араго. И вещи, играющие роль большую, чем живые существа и любовь, — любовь, уже немного сниженная деньгами в творчестве Бальзака, — любовь, уступающая место иным источникам корысти; наконец, это роман будущего, призванный создать скорее историю того, что происходит в голове человечества, чем того, что происходит в его сердце.

25 декабря. Гаварни, занятый вместе с Бракемоном пачкотней офортов, пытается воспроизвести иглой на меди серию знаменитостей, среди которых он показывает нам чудесного Бальзака.

К концу дня мы все вчетвером идем обедать в кабачок у ворот Отейль.

Гаварни живет один, более чем когда-либо замкнуто. В выложенной плитками мансарде, где он сейчас работает, — ни души. Он уже не человек, а только дух, которого, кажется, ничто в мире не связывает с человечеством. Когда ему говорят о совсем недавних его друзьях, чувствуется, что на них уже брошен пепел забвения. Вряд ли он вспоминает о них, а если говорит, то по взгляду его видно, что он роется в далеких кулисах своих воспоминаний.

Сегодня вечером кто-то из нас вызвал в нем воспоминания о прошлом, и он набрасывает перед нами забавную картину быта Домье-художника, великого художника, — сказал он нам, — самого равнодушного из всех к успеху своих творений. Огромная комната; вокруг чугунной печки, раскаленной добела, люди сидели на полу, каждый пил прямо из бутылки, в углу на столе в ужасающем беспорядке — кучи, скопища литографий, а в другом углу — грум, он же ученик художника, чинил башмаки.

Гаварни вместе с нами много смеялся над статьей, посвященной его френологической характеристике, статьей, в которой ему милостиво оставляли чувствительность, но отказывали в способности уважения: «Итак, господа,— вскричал он,— это жестоко, но это так! У меня нет чувства уважения и на два су».

1857

3 января. В редакции «Артист». Теофиль Готье — лицо тяжелое, одутловатое, с расплывшимися чертами, усталость лица; при этом минута непонимание, как у глухого, и галлюцинации слуха, отчего, когда обращаешься к нему, он прислушивается так, будто говорящий стоит где-то сзади.

Он повторяет и влюбленно пережевывает фразу: «из формы рождается мысль», фразу, сказанную ему сегодня утром Флобером, и которую он считает как бы высшей формулой школы и готов даже высечь ее на стенах. Рядом с ним, высокий малый, черноволосый и важный, биржевой делец, помешанный на Египте; держа подмышкой гипсовый слепок с какого-то Херопса, он излагает, в торжественных выражениях, свою систему работы: «ложиться в восемь часов вечера, вставать в три,— выпивать две чашки черного кофе и работать до одиннадцати».

Здесь Готье, приходя в себя, как бык, бросивший жевать жвачку, перебивает Фейдо:

«О, я бы от этого с ума сошел! Утром я просыпаюсь потому, что мне снится, что я голоден. Я вижу сочное мясо, огромные столы, заставленные снедью. Это меня подымает с постели. После завтрака я курю. Встаю я в половине восьмого, и все это занимает у меня время до одиннадцати. Тогда я тащу кресло, раскладываю на столе бумагу, перья, чернила — прямо дыба — и это так скучно, мне всегда было скучно писать, и потом это так ненужно!.. Я пишу, как писарь... Пишу, не торопясь — вот он видел, — но все-таки подвигаюсь вперед, потому что, я знаете, не пишу совершенства. Статья, страница — это делается с первого маха, это — как ребенок: или он есть или его нет. Я никогда не думаю о том, что буду писать, я беру перо и пишу. Я — писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага: я, как клоун на трамплине... И, кроме того, у меня в голове неплохо упорядочен синтаксис. Я подбрасываю свои



Теофиль Готье

(С акварели Э. Жиро)

фразы в воздух... как кошек, и я уверен, что они упадут на все четыре лапы. Это очень просто, нужно только иметь хороший синтаксис. Я берусь научить любого, как надо писать. Я мог бы открыть курсы по сочинению фельетонов в двадцать пять уроков! Смотрите, вот мой черновик, ни помарочки...

— Для меня литература — это состояние ярости, в котором можно удержаться только какими-то крайними средствами.

— Но ведь ты был талантлив?

— Я? Теперь я люблю только шлаться...

— Недостает еще только, чтобы ты начал пить!

— Ну, нет, если я буду пить... у меня будут синие жилки на носу... шикарные куртизанки не будут меня любить... я должен буду довольствоваться девками по двадцать су... я стану гнусен и отвратителен, и тогда...

5 марта. Шарль Блан в редакции «Артист» упрекает Теофиля Готье, — впрочем, усердно воскуривая перед ним фимиам, — в том, что тот в своих статьях все располагает на переднем плане, не оставляя плоских мест, не давая отдыха: все у него блещет.

— Вот видите, какой я несчастный, — говорит Готье. — А мне все кажется плоским. Мои самые яркие статьи я нахожу

серыми — пропускная бумага. Я валяю красным, желтым, золотым, я мажу как бешеный, и никогда мне не кажется, что это блещет. И это меня огорчает, потому что при все том я обожаю линию и Энгра...<sup>1</sup>. Вот мое мнение о Мольере — вы хотели его знать; о Мольере и «Мизантропе». Ну, так знайте же: все это кажется мне отвратительным. Говорю совершенно искренне: как будто свинья писала!

— О! Как можно так кощунствовать! — восклицает Шарль Блан.

— Нет, Мольера я совсем не чувствую. В его пьесах есть здоровый, здоровенный смысл, квадратный, гнусный. Мольер, я его хорошо знаю, я его изучил, я накачал себя типичной для него пьесой «Мнимый рогоносец», и, чтобы испробовать, достаточно ли я овладел инструментом, я состригал маленькую пьеску: «Очарованный трехрогий». Об интриге не будем говорить, не правда ли, ведь это неважно; но язык, но стихи куда сильнее, чем у Мольера. Для меня Мольер — это буржуа, сочиняющий пьесы!

— И он смеет, смеет говорить это о «Мизантропе»! — восклицает Шарль Блан, закрывая лицо руками.

— «Мизантроп», — продолжает невозмутимо Готье, — это просто гадость... Должен вам сказать, что я в известном смысле очень несовершенно устроен. Человек мне абсолютно безразличен. В драмах, когда отец прижимается всеми своими пуговицами к найденной дочери, меня это ничуть не трогает, я вижу только складки платья дочери. Я — натура субъективная. Говорю вам то, что чувствую. И потому, черт меня возьми, если я стану писать такое! Конечно, не надо покушаться на признанные шедевры. Но «Мизантроп»...

11 апреля. В 5 часов встреча в редакции «Артист» с Готье, Фейдо, Флобером. Фейдо — пристрастие к самому себе, самодовольство, важничанье, столь откровенное и детски-наивное, что это обезоруживает. Он спрашивает Готье о премьеры своих «Времен года», которые должны ставиться при каждом равноденствии:

— Ведь правда, это перл, да? Я ведь хочу посвятить тебе перл, не меньше.

Вскоре начинается крупный и шумный спор о метафорах. Фраза некоего Массилона: «его мнениям нечего было краснеть

от его поступков» принимается Флобером и Готье, но фраза Ламартина: «он занимался верховой ездой... этим пьедесталом принцев», осуждена бесповоротно.

От метафор переходят к ассонансам — надо избегать ассонансов, — говорит Флобер, — хотя бы для этого понадобилось работать целую неделю. Потом Флобер и Фейдо обмениваются мелкими профессиональными рецептами, которые провозглашают громкими голосами и с широкими жестами; говорят о механике литературного таланта, напыщенно и серьезно — о средствах создания хорошей прозы, выдвигают теории ребяческие, важные, смешные и торжественные, убранству мысли, ее цвету, ее ткани придается такое большое значение, что мысль, в конце концов, становится как бы вешалкой для слов.

Мы будто присутствуем на турнире грамматиков.

12 мая. Теофиль Готье — этот стилист в красном жилете, рассчитанном на буржуа, вносит в литературные дела удивительнейший здоровый смысл, самые трезвые суждения и самую страшную ясность, брызжущую в маленьких, совсем простых фразах, произносимых голосом, звучащим, как ласка. Этот человек, который на первый взгляд немного замкнут или скорее как бы погребен в глубине самого себя, обладает огромным обаянием и становится при ближайшем знакомстве в высшей степени симпатичным.

...Сегодня Готье сказал нам, что он, желая написать что-нибудь хорошее, всегда начинал со стихов, потому что в нем живет какая-то неуверенность в собственной прозе, в ее полной удаче, а стих, когда он хорош, кажется высеченным, как медаль; но, прибавил Готье, жизненные обстоятельства превратили в прозу многие вещи, начатые им в стихах.

Сентябрь. Перечитал «Крестьян» Бальзака. Никто не называл Бальзака государственным человеком, а, быть может, это самый великий государственный человек нашего времени. Он единственный, кто проник в глубины нашего недуга, единственный, кто орлиным взором видел неустойчивость Франции после 1789 года, единственный, кто разглядел нравы под законами, факты под словами, анархию разнужданных интересов под внешним порядком, личные влияния, пришедшие на смену злоупотреблению, равенство перед законом,

<sup>1</sup> Энгр, Жан Огюстен Доминик (1780—1867) — известный французский художник.

сведенное к нулю неравенством перед судьей, наконец, лживость программы 89 года, которая подменила знатность монетой в сто су и делала маркизов из банкиров — и больше ничего.

И все это было подмечено писателем.

4 декабря. Беранже — Анакреон Национальной Гвардии.

1858

11 апреля. Перечитан «Племянник Рамо». Что за человек Дидро! Какой поток! Вольтер бессмертен, а Дидро только знаменит. Почему? Вольтер похоронил эпическую поэму, сказку, небольшое стихотворение, трагедию. Дидро основал современный роман, драму и критику искусства. Вольтер — последний ум старой Франции, Дидро — первый гений Франции новой.

16 апреля. Быть скептиком, исповедывать скептицизм, увы, это плохая дорога для тех, кто хочет сделать себе карьеру. И, прежде всего, разве орудием скептицизма не является ирония, метод наименее приемлемый для тупиц, дураков, безмозглых, глупцов? Это отрицание, это сомнение наносит удар иллюзиям всех или, по крайней мере, тем иллюзиям, которыми козыряют все: довольство человечества, предполагающее довольство собой, — этот покой человеческого сознания, который буржуа стремится выдать за покой своего собственного сознания.

Воскресенье. Ноябрь. Гаварни, Флобер, Сен Виктор, Марио Юшар обедают у нас. Ум Флобера одержим маркизом де Сад, о котором он все время говорит, как о тайне и о непристойности, привлекающей его; лакомый до непристойностей, коллекционирующий их, и счастливый, по его собственному выражению, зрелищем золотаря, который поедает то, что вывозит, Флобер восклицает все о том же маркизе де Сад: «Это самая забавная глупость, которую я когда-либо встречал».

Бросив маркиза де Сад, он сразмаху, попантарюэлевски пронизывает над богохульниками. И он рассказывает, как один человек пошел на рыбную ловлю со своим другом. Друг закинул сети и вытащил камень, на котором было написано: «Я не существую». Подпись «бог». И неверующий друг говорит ему: «Вот видишь!»



Гюстав Флобер  
(Карикатура Э. Жиро)

Флобер выбрал для своего античного романа Карфаген, как государство с наиболее гнилой цивилизацией на всем земном шаре, и за шесть месяцев написал еще только, — говорит он, — две главы: пир наемников и лупанар.

Тут Сен Виктор начинает демонстрировать свой католицизм художника и ученого, рассказывает, что он захвачен страстным интересом ко всему, что относится к мифологии:

«Ах! — восклицает этот своеобразный католик. — Я не знаю ничего прекраснее великого праздника в храме св. Петра. Видели ли вы, как кардиналы читают свои требники? Они откидываются назад — и тогда становятся похожи на лепные фигуры на сводах. Да, в католической религии, в сущности, порядочно мифологии».

Кто-то из собеседников сравнивает Обри с кошкой, наэлектризованной током; есть и другой, который перечисляет газеты, принадлежащие евреям, — «Пресс», «Конститусионель», «Деба», «Бурье де Пари», и объявляет, что литература уже «приручена» ими.

1859

9 декабря. Нет ничего очаровательней, ничего изысканней, чем французское остроумие иностранцев, например Галиани, принца де Линь, Генриха Гейне.

1860

Воскресенье, 29 января. Мы проводим вечер у Флобера вместе с Буйе. Разговор о маркизе де Сад, к которому, как зачарованная, все время возвращается мысль Флобера: «Это последнее слово католицизма,— говорит он.— Поясняю. Это дух инквизиции, дух пыток, дух средневековой церкви. Ужас перед природой... Заметили ли вы, что у маркиза де Сад нет ни одного животного, ни одного деревца?»

Он говорит нам потом о романтизме, рассказывает, как в школе он спал с кинжалом под подушкой, и еще о том, как он останавливал свой тильбюри перед усадьбой Казимира Делавинь и вставал на сиденье, чтобы прокричать ему последние уличные ругательства.

Воскресенье, 20 февраля. В уголке, возле камина, Флобер рассказывает нам о своей первой любви. Он ехал в Корсику. До этого он только еще «просвещался» с горничной своей матери. Он попадает в маленький отель в Марселе, куда привезли женщин из Лима вместе с мебелью из черного дерева, инкрустированной перламутром, которая приводила в восторг путешественников. Три женщины в шелковых пенюарах, струившихся вдоль спины до пят, в сопровождении негртенка, одетого в желтое и обутого в восточные туфли: целый мир, который открылся ему в садике, полном тропических цветов; посреди звенела струя воды. Для молодого нормандца, которому приходилось путешествовать только из Нормандии в Шампань и из Шампани в Нормандию,— это была весьма соблазнительная экзотика. И однажды утром, возвращаясь со взморья после прилива, он встретил одну из этих трех женщин, великолепную женщину тридцати пяти лет,— и отдал ей один из тех поцелуев, в которых отдают всю душу. Это был фонтан наслаждения, потом слез, потом писем, и все.

С тех пор он много раз бывал в Марселе. Он наводил справки и не мог узнать, что сделалось с этими тремя женщинами. В последний раз, когда он проезжал через Марсель, направляясь в Тунис для своего

романа о Карфагене, он не узнал дома, на который приходил смотреть в каждый свой приезд. Он смотрел, искал и, наконец, увидел, что здесь теперь помещается игрушечный магазин, и что первый этаж занят парикмахерской. Он зашел побриться и узнал на стенах знакомые обои.

4 марта. Мы беседуем с Флобером о «Легенде веков» Гюго. Больше всего поражает его в Гюго, который считает себя мыслителем, как раз отсутствие мысли. Гюго не мыслитель: он, по выражению Флобера, натуралист. У него в крови сок деревьев... Потом он с гневным презрением говорит о Фейе, о том, как тот в своих книгах низменно ухаживает за женщинами. «Это доказывает, что он не любит женщину. Те, кто ее действительно любят, рассказывают в своих книгах о том, что им пришлось выстрадать из-за нее, ибо любят только то, от чего страдают».

«Да,— ответили мы ему,— этим объясняется материнство».

Тут ему принесли три толстых тома, отпечатанных в императорской типографии,— о рудниках в Алжире. Он надеялся найти в них какое-то слово, которое ему нужно для его книги о Карфагене.

Вдруг он начинает декламировать нам отрывки невероятно нелепой трагедии, набросанной им вместе с Буйе, об открытии оспенной вакцины,— трагедии, выдержанной полностью во вкусе Мармонтеля, где все, вплоть до «изрытая оспой, как шумовка», дано в метафорах.— Трагедия, над которой он работал в течение трех лет, обнаруживает воловье упрямство этого ума во всем, даже в комических вымыслах, достойных разве что пятнадцатиминутной шутки.

Он много писал по окончании школы, и никогда ничего не печатал, за исключением двух статей в руанской газете. Он жалеет о романе, примерно в 150 страниц, написанном год спустя после его занятий философией: юноша, страдающий сплином, наносит визит молодой девушке; роман психологический, говорит он, в котором слишком много от его собственной личности. Он утверждает, что в «Мадам Бовари» есть только один тип, до известной степени написанный с натуры — бывший военный, казначей при Империи, хвостун, врун, развратник; чтобы получить от своей матери деньги, он угрожал ей саблей, ходил всегда в сапогах, кожаных штанах, полицейском картузе, был завсегдаем цирка Лалан,

цирковые наездники заходили к нему выпить теплого вина, которое он грел в лоханках, и цирковые наездницы тоже приходили под его кровлю — разрешаться от бремени.

Мольер — это крупное событие в буржуазном классе, это торжественная декларация души третьего сословия. Я вижу в Мольере начало здравого смысла и практической сметки и конец всего рыцарского и высокой поэзии. Женщина, любовь, все благородные, галантные безумства, все это сведено к узкой мерке супружества и приданого. Все, что порыв и непосредственность, — здесь выверено и исправлено.

Корнель — последний глашатай благородства; Мольер — первый поэт буржуазии.

10 апреля. Флобер, который едет в Круассе выдавать замуж свою племянницу, пришел к нам проститься. Он рассказывает о выдумке, которая сильно занимала его в юности, равно как и нескольких его друзей, и особенно самого близкого его товарища по школе — Пуатевена, которого он нам обрисовал как очень сильного метафизика, натуру несколько сухую, но необычайно возвышенную.

Они изобрели фантастическое существо, в уста которого все по очереди вкладывали свои шуточные выдумки.

Это существо — труднообъяснимое — звалось собирательным и родовым именем: «Мальчик». Оно представляло собой неумное изничтожение романтизма, материализма и вообще всего на свете. Они придали ему сложную личность со всеми пристрастиями реального характера, усложненного всеми видами буржуазных благоглупостей. Это была фабрикация острот тяжеловесных, упрямых, терпеливых — так острят в маленьких городках, так острят немцы.

У «Мальчика» были свои особые жесты, жесты автомата, отрывистый и пронзительный смех, — так смеются фантастические персонажи, — огромная физическая сила. Ничто не может дать лучшего представления об этом странном создании, которое действительно владело друзьями Флобера, даже сводило их с ума, чем традиционная шутка, повторявшаяся каждый раз, когда они проходили перед Руанским собором.

Кто-нибудь говорил: «Прекрасна эта готическая архитектура, она возвышает душу!» И тотчас же другой, превращаясь в «Мальчика», восклицал громким голосом: «Да, это прекрасно, и Варфоломеевская

ночь тоже, и Драгонады<sup>1</sup> и Нантский Эдикт тоже прекрасны!..» Красноречие «Мальчика» особенно ярко блистало в пародиях, которые разыгрывались в большой биллиардной у Флобера-отца, в Руанской больнице. Произносились самые уморительные речи, надгробные слова над живыми, непристойные разглагольствования, которые длились по три часа.

«Мальчик» имел свою собственную историю, в которую каждый привносил свою страницу. Он строчил стихи и т. д. и т. д. И кончал тем, что становился содержанием «Отель де ля Фарс», где происходили празднества «Вывоза Нечистот»... Оме<sup>2</sup> мне представляется этим «Мальчиком», но только подчиненным требованиям романа.

18 ноября. Мой Париж, Париж, где я родился, Париж нравов 1830—1848 годов уходит. Он уходит в материальном, он уходит в нравственном. Социальная жизнь прodelывает в нем большую эволюцию, которая уже началась. Я встречаю в кафе женщин, детей, супружеские пары, целые семьи. Интерьер умирает. Жизнь угрожает стать публичной. Салоны для избранных, кафе для низов — вот к чему придут общество и народ... И кажется, что проходишь сквозь все это, как путешественник. Я чужд тому, что надвигается, тому, что уже есть, и этим новым бульварам без поворотов, без неожиданных перспектив, неумолимо прямым линиям, в которых не чувствуется более бальзаковского мира, при виде которых приходит на ум какой-то американский Вавилон будущего.

27 декабря. Действительно забавно, что четыре человека, наиболее чистые от всякого ремесленничества и всяких сделок, четыре писателя, наиболее полно преданные искусству, привлекались к суду исправительной полицией: Бодлер, Флобер и мы двое.

## 1861

Воскресенье, 18 января. Мюрже умирает. У него болезнь, от которой человек еще при жизни распадается на части. Недавно, когда ему хотели подстричь усы, вместе с волосами отошла вся губа. В по-

<sup>1</sup> Притеснения протестантов при Людовике XIV в связи с отменой Нантского Эдикта. От слова — драгун.

<sup>2</sup> Аптекарь Оме — один из героев «Мадам Бовари» Флобера.



следний раз я видел Мюрже в кафе Риш месяц назад, у него был здоровый вид, он был весел, счастлив. В этот вечер в Пале-Рояль с успехом шла его одноактная пьеса. По поводу этой вещицы газеты говорили больше, чем о всех его романах, и он сказал нам, что очень глупо гнуть спину над книгами, за которые никто не скажет спасибо, которые не приносят никакой выгоды, и что отныне он будет писать только для театра и зарабатывать деньги без хлопот.

Его смерть, если поразмыслить, это как бы смерть по Святому Писанию, как бы божественная кара за богомудрие, за жизнь не в ладах с гигиеной тела и души, от которой в 42 года человек выбывает из строя, не имея больше силы, чтобы страдать, и жалуется на запах гнилого мяса, наполняющий его комнату, не зная, что это пахнет от него самого.

Воскресенье, 17 марта. Флобер сказал нам сегодня: «История, события в романе: мне это безразлично. Когда я пишу роман, я думаю только о том, чтобы передать цвет, оттенок. Например, в моем карфагенском романе я хочу дать «пурпуровое». В «Мадам Бовари» у меня была мысль передать только тон, оттенок плесени, цвет существования мокриц. Фабула настолько была мне неважна, что за несколько дней до того, как я начал писать книгу, я задумал «Мадам Бовари» совсем иначе. Это должна была быть, в той же самой среде и в той же самой тональности, — старая дева, ханжа и целомудренная... Но потом я понял, что это был бы невозможный персонаж».

Понедельник, 18 октября. Сент-Бев, который прислал нам письмо, чтобы завести с нами интеллектуальное знакомство, пришел к нам в два часа. Он маленького роста, круглый, короткий, деревенщина с виду, одет по-деревенски — фигура в духе Беранже. У него высокий лоб, череплысый и блестящий, большие глаза навывкате, нос, какой бывает у любопытных, у чувственных, у лакомок, широкий рот каких-то скверных, рудиментарных очертаний, но сложенный в любезную улыбку, редкостные скулы, скулы, выступающие и выпуклые, как огромные опухоли. По белому лбу и ярким щекам, по розовой и свежей окраске лица Сент-Бева можно принять за провинциального библиотекаря, живущего во мраке книжной кельи, под ко-

торой у него погреб, полный благородным бургундским.

Он болтлив, и его разговор — это легкие мазки, — ни одного широкого движения кисти: его речь напоминает палитру художницы-акварелистки, в красивых, нежных и робких тонах.

## 1862

Пятница, 21 февраля. Мы обедаем вместе с Флобером у Шарля Эдмона. Разговор заходит о его романе с мадам Коле. Ни горечи, ни ненависти не осталось в нем к этой женщине, опьянявшей его, должно быть, своей яростной, безумной любовью. Есть в Флобере какое-то природное бахвальство, отчего ему нравятся все такие женщины, страшные своими чувствами и порывами души; такие, должно быть, замучивают любовь своими тяжеловесными чувствами, грубой испуганностью, бешеным опьянением.

Однажды она явилась к Флоберу прямо под отеческую кровлю и потребовала объяснения в присутствии его матери, которая навсегда сохранила в глубине души, как рану, нанесенную ее полу, воспоминание о жестокости сына по отношению к его любовнице. «Это единственное темное пятно в моих отношениях с матерью» — восклицает Флобер.

Он признается, однако, что бешено любил эту женщину — так любил, что однажды чуть не убил ее; когда уже он стал на нее наступать, у него возникла как бы галлюцинация будущего суда: «Да, да, я услышал, как скрипнула подо мной свамья подсудимых!»

Он добавил, что один из его предков был женат на уроженке Канады. И действительно, в Флобере есть что-то от краснокожих и от их неистовства.

Четверг, 27 марта. Сегодня масленица. Мы обедаем у мадам Дегранж. Присутствуют Теофиль Готье с дочерьми, Пэйра с женой и дочерью, Гэфф и еще какая-то неизвестная личность, из тех, которых приглашают, чтоб за столом не было тринадцати.

У дочерей Готье особое обаяние, какая-то восточная томность, медлительность и глубина взора из-под тени тяжелых прекрасных ресниц, ленивая размеренность жестов и движений, унаследованная ими от отца, но «обязанная» женской грацией: обаяние не совсем французское, но в

котором все же много именно французского: чуть-чуть мальчишеские шалости и выражения; гримаски, движение плеч, ирония, подчеркнутая выразительными детскими жестами, — тысяча вещей, которые делают их совсем отличными от молодых светских девушек, очаровательными своеобразными созданиями, чьи симпатии и антипатии проявляются свободно и видны с первого взгляда. Эти девушки вносят в общество вольность речей и дерзкие манеры женщины в полумаске. Но в сердцах этих девушек чувствуются наивность, чистота, дружелюбная доверчивость, чего нет у многих других. Одна из них, которой мать запрещала пить шампанское, поведала мне первую свою монастырскую страсть, первую свою любовь к ящерице, которая смотрела на нее взглядом нежным и «человечески дружелюбным», была всегда с ней и при ней, каждую минуту она высовывала головку из выреза корсажа, чтобы взглянуть на хозяйку, и снова пряталась. Бедная маленькая ящерица, когда ее раздавила злобная и ревнивая подруга, приползла с вылезающими внутренностями к своей хозяйке, чтобы умереть около нее. И девушка поведала мне простодушно, что вырыла для ящерицы могилу и поставила маленький крестик, что с тех пор она не хотела больше молиться, ходить в церковь, и в конце концов вера в ней умерла. — так возмущались ее детские чувства несправедливостью этой смерти.

Воскресенье, 4 мая. Воскресные разговоры на бульваре Тампль у Флобера спасают нас от воскресной скуки. Мы перескакиваем с одной вершины на другую; добираемся до происхождения миров, копаемся в религиях, производим смотр идеям и людям, переходим от восточных легенд к лиризму Гюго, от Будды к Гете. Бродишь в горизонтах прошлого, мечтаешь о том, что уже погребено, размышляешь вслух, перелистываешь в воспоминаниях старые шедевры, извлекаешь из памяти цитаты, фрагменты, обрывки поэм, подобные обломкам богов, возникающим при раскопках в Аттике.

Потом в мгновение ока спускаешься в тайники чувств, в неизведанные области причудливых вкусов, чудовищных характеров. Фантазия, извращения, странности и безумства плотской любви изучаются, исследуются, анализируются, классифицируются. Любовь вынесена на подмости, и страсти обзреваются как на сцене; и, на-



Сент-Бес  
(Портрет работы Зимм)

конец, мы переходим к таким разговорам, которые можно было бы назвать научными лекциями о любви людей XIX века, материалами книги о любви, которая, быть может, никогда не будет написана, и которая, несмотря на это, была бы прекрасной книгой: «Естественной историей любви».

23 августа. Готье обедает с нами у Петерса. Он возвратился с открытия алжирской железной дороги, и он в ярости на цивилизацию, на инженеров, которые портят пейзажи своими рельсами, на утилитаристов, на все, что здоровое градоуправление вводит в этой стране. Он обращается к Клодэну, который подсел к его столику: «Тебе это нравится... ты ведь цивилизованный. Но мы, нас трое, да еще четверо или пятеро, мы больные... декаденты... нет, скорее первобытные, нет, опять не то, мы особенные, странные, неопределенные, восторженные. Бывают минуты, когда мне хотелось бы убить все существующее: полицейских, господ военных, господ благоразумных, все это свинство... Клодэн, видишь, я говорю это без всякой иронии, ты на правильном пути. Есть у тебя чувство экзотики?.. Нет, ну вот... Мы не французы, мы иные, нам дороги другие

расы. Мы полны ностальгии всех видов. И потом, когда к тоске по какой-нибудь стране примешивается тоска по какой-нибудь эпохе... как вот у вас, например, по XVIII веку... как у меня по Венеции времен Казановы... О, тогда все представлено полностью... Заходите ко мне вечером... Мы поговорим об этом подробнее... Мы будем говорить поочередно все трое — Иов на гноище со своими друзьями».

По поводу «Психеи», которую он в разговоре с принцем Наполеоном посоветовал возобновить, чтобы воскресить неизвестную сторону творчества Мольера — мастера балета, устроителя дивертисментов, Готье снова начинает говорить о «Мизантропе», комедии, годной для ознаменования начала занятий в иезуитском колледже: «Ну и свинья! Что за язык! До чего плохо сделано, но как я могу об этом писать? Я не хочу лишаться куска хлеба... Я еще и сейчас получаю ругательные письма за то, что я посмел провести параллель между «Тимоном Афинским» и «Мизантропом».

С Мольера разговор перескакивает на весь этот XVII век, такой скучный, неприятный, с таким плохим языком, смесь косноязычия XVI и ясного языка XVIII века. И вот Готье, вдруг переходя к Людовику XIV, разит как ударами потоками страстных слов, в которых есть что-то одновременно от Мишле и от Пер Дюшена: «Обжора, изрытый оспой, как шумовка, и низенького роста... В великом короле не было и пяти дюймов. Все время жрал да испражнялся... Оно полно г... это время... и ограниченный кроме того... ибо он платил деньги за то, чтобы его воспевали... одна фистула у него была в зад, другая в носу, она сообщалась с небом... поэтому у него из ноздрей текли всякие там морковки и разные тогдашние супы-жюльены. Правду говорю...» — заключает он, поворачиваясь к ошеломленному Клодэну.

1 декабря. Мы отправились поблагодарить Сент-Бева за его статью, которая появилась сегодня в «Конститусионель» о «Женщине XVIII века».

Сент-Бев живет на улице Монпарнас.

Дверь, очень низенькую, нам открывает экономка, женщина лет сорока, с маерами воспитательницы из хорошего дома. Нас вводят в гостиную с красной бархатной мебелью стиля Людовика XV, от обойника из Латинского квартала. Гостиная буржуазная, торжественно холодная. Печально и скудно проникает сюда свет из

садика, огороженного высокой стеной, сквозь хитросплетения виноградных ветвей, чахлах и черных. Мы поднимаемся по маленькой витой лестнице в комнату Сент-Бева, она как раз над гостиной, — в комнату, где сразу, какходишь, видна кровать с пуховиком, напротив два окна без портьер, слева два книжных шкафа красного дерева, где красуются переплеты в стиле Реставрации, с тиснением в готическом духе. Посреди комнаты стол, заваленный книгами, и в углах, напротив книжных шкафов, груды газет и брошюр, целые кучи, скопища, беспорядок, как при переезде с квартиры на квартиру: похоже на гостиничный номер, в котором поселился бенедиктинец.

Мы застали Сент-Бева в непонятном гневе на «Саламбо», неистовствующего, исходящего пеной, бросающего короткие фразы: «Прежде всего это неудобочитаемо... и, потом, это трагедия... В сущности, это предельный классицизм... битва, чума, голод, все это годится для учебников литературы...» В течение чуть ли не часа на все наши аргументы в защиту книги (надо же защищать собратьев от критики), он плевался и выблевывал это произведение из уст своих, весь во власти детского, почти комического гнева.

Сегодня Сент-Бев поразил меня своим сходством с Ипполитом Пасси; та же старая хитрая физиономия, тот же взгляд, та же форма черепа, тот же тембр голоса, и то же пришепетывание. Я заметил, что все болтуны — пришепетывают.

Декабрь. Субботний обед у Маньи. Сент-Бев в Булони знал старого библиотекаря по имени Инар, он был преподавателем риторики в школе в Арасе, и учеником его был Робеспьер. Он рассказывал, что его ученик, сделавшись адвокатом, — впрочем с очень небольшой клиентурой, — написал поэму, озаглавленную «Искусство плевать и сморкаться». Сестра Робеспьера, опасаясь, как бы ее брат не потерял тех немногих клиентов, которые у него были, если поэма выйдет в свет, пошла посоветоваться с Инаром, как бы сделать так, чтобы поэма не появилась. Инар попросил Робеспьера прочитать свою поэму и сказал ему: «Очень хорошо, очень хорошо; но нужны кое-какие переделки!»

Революция захватила Робеспьера в работе над этими переделками, и поэма не увидела света.

1863

4 января. Флобер нам рассказывал, что, когда он был ребенком, он так углублялся в чтение, — покусывал язык, вертел между пальцами прядь волос, — что в один прекрасный день свалился на пол. Однажды он порезал себе нос о стекло, упав на книжный шкаф.

Сегодня у него был молодой студент-медик (Пуше), интересующийся татуировкой. Он рассказал нам о редких татуировках, открытых им самим: «Либерте, Эгалите, Фратерните» на животе у проститутки, и на лбу каторжника пессимистическая надпись: «Не везет».

17 января. Сент-Бев поделился с нами своими воспоминаниями о мадам Рекамье, нарисовал одного из завсегдатаев ее салона: старого Форбен Жансон. Его встречали на лестнице, слуга нес его на руках. Это была развалина, тень, смерть. Дверь отворяется. При виде горничной, — крик! как будто дернули пружинку, и на его лице начинает играть улыбка, и он ходит с важным видом, и галантно раскланивается и улыбается, время от времени бросая неплохую остроту, которую мадам Рекамье подхватывает.

Тогда старик давал себе волю и говорил: «Да, это настоящий Форбен». Мрачная шутка!

29 января. Лживые фразы, звонкие слова, вранье, вот приблизительно все, что мы наблюдаем у политических деятелей нашего времени. Революция — простой переезд с места на место с перенесением на освободившуюся квартиру всех тех же притязаний, коррупций, низостей — и все это сопряжено с битьем посуды и большими расходами.

Политической морали ни на йоту. Я иду вокруг себя людей, бескорыстно мыслящих, и не нахожу. Идут на риск, компрометируют себя в надежде на грядущие блага, или присоединяются к политическим партиям, которые представляют будущее. И так все, кого я знаю. Если сенатор мыслит так-то или так-то в зависимости от получаемого им содержания, то мой юный друг N приверженец орлеанистов просто потому, что ему что-то обещали, когда те вернутся к власти.

Это ведет постепенно к разочарованию, отвращает от всякой веры, вселяет терпимость к любой власти, безразличие к поли-

тическим страстям, все эти черты я нахожу у моих братьев по перу, и у Флобера и у себя. Приходишь к заключению, что не за что умирать, что нужно жить в мире со всяким правительством, как бы омерзительно оно ни было, и не верить ни во что, кроме искусства, не исповедывать ничего, кроме литературы. Все остальное ложь и ловушка для глупцов.

31 января. Обед у Маньи. Сент-Бев совершенно счастлив, он бесконечно рад своему семейному празднику, бывшему накануне. Верон пригласил его обедать вместе с его экономкой и слугами, а потом повез их и всех в свою ложу в Оперу. Настоящий выезд в духе старика Поль-де-Кока.

И Сент-Бев начинает нервически говорить о Гюставе Планш, которого он ввел в дом Гюго, и в один прекрасный день увидел, что тот водворился там и уже больше не выходит.

Планш тогда не занимался литературой, это был *causeur*<sup>1</sup>, белокурый, недурен собой, но *causeur* любящий затягивать свои беседы так далеко за полночь, что Гюго как-то спросил у Сент-Бева: «А когда ваш друг ложится спать?» Сент-Бев удивляется количеству его поклонников, особенно поклонниц, и говорит, что Планш у мадам Дерваль, в отчаянии от своего бессилия, катался по паркету в такой горести, что консьерж все слышал из своей каморки.

Потом от Гюстава Планша Сент-Бев переходит к Мишле, говоря, что талант его состоит единственно в раздувании мелочей, что он являет собой абсолютный антипод здравого смысла, и Сент-Бев признает за ним только с трудом выработанную оригинальность; так как его собеседники протестуют, а Флобер мужественно высказывает свое восхищение творениями великого историка, Сент-Бев впадает в настоящую ярость, стучит по столу кулаком, несмотря на больные суставы, ругательски ругается и вопит, что весь этот истеризм произведений Мишле происходит от того, что он знал только одну женщину, а он был похотлив, как священник.

Потом, оставив Мишле, он начинает описывать нам страдания, которые Мария Антуанетта должно быть переносила, живя с этим неотесанным грубияном, с Людовиком XVI. Он бросил булыжник в спящего

<sup>1</sup> *Causeur* — владеющий искусством изящной беседы.

крестьянина, он однажды издал непристойный звук в ответ придворному, просившему назначить его камергером. Он дал пощечину мосье де Кюбьеру и, чтобы загладить свою вину, подарил ему лошадь, в этот день привезенную из Константинополя, что дало пострадавшему повод сказать: «Король дал мне ее... самым чувствительным манером».

И, перебивая самого себя, Сент-Бев говорит: «Слушайте, Вейн, что это у меня, нарыв?» и протягивает руку.

— Нет, воспаление суставов, даже не подагра...

— Да я не хочу ничего предпринимать, просто хочу знать.

— До чего несовершенная машина человеческое тело! — говорит кто-то из нас.

— Нет, оно хорошо сделано.

— Хорошо сделано, говорите вы? Но, если я не ошибаюсь, в дни вашей молодости вы были довольно слабого здоровья.

— О, в молодости... начать с того, что у меня была жизнь не та, что у всех... Я плохо питался... мало. Мне мешали есть вволю какие-то романтические соображения... и меня мучали угрызения совести, потому что я обманывал свою любовницу, да и не питался, как надо... вы знаете, что угрызения совести — не что иное, как физическая слабость. Позже я от всего этого отошел, я ввел в свою жизнь тихую философию и веселье...»

Тут Флобер, да, Флобер, и Сен-Виктор начинают защищать мысль, что на современном материале нельзя ничего сделать; отчего мы начинаем кричать громко, как павлины, и напускаемся на них: «Пластичность теперь в ином — вот и все!»

14 февраля. Чудесны наши обеды по субботам. Говорят обо всем, и каждый изливает душу и немного исповедывается. Говорят о женщинах. «Мой идеал, — заявляет Сент-Бев, — это волосы, зубы, плечи, а все остальное... грязь... мне безразлично...» И так как разговор заходит об изяществе чепчиков, которые светские дамы надевают на ночь: «Мой никогда не надевали чепчиков на ночь... я видел только сетки... А позже я не провел ни разу ночи с женщиной из-за работы». Кто-то намекает на восточных женщин, Сент-Бев впадает в свирепое негодование на обычай женщин тех стран удалять себе волосы повсюду. Сен-Виктор поддерживает его, заявляя: «Это должно быть похоже на подбородок кюрэ». Инцидент заканчивается яростной

диатрибой Сент-Бева против Востока, который все уродует.

С вами обедает Ножан-Сен-Лоран, который входит в комиссию по авторскому праву. Он заявляет себя сторонником постоянного существования комиссии. Против этого предложения живо возражает Сент-Бев, восклицая: «Наградой вам служит шум, опьянение... На самом деле писатель должен был бы сказать, берите, берите... Разве то, что вас берут, не большое счастье?»

Флобер, который охотно противоречит высказанному мнению, бросает: «Ну, если бы я изобрел железные дороги, мне хотелось бы, чтобы ими никто не пользовался без моего разрешения!» На что Сент-Бев гневно отвечает: «Литературная собственность не нужна, так же как и всякая другая... Не нужно собственности... Нужно, чтобы все обновлялось, чтобы работали все...»

Тут, уж не знаю кто упоминает имя Гюго. При этом имени Сент-Бев вскакивает, будто его под столом укусила змея, и объявляет, что это шарлатан; что именно Гюго был первым спекулятором в литературе! Флобер восклицает, что в шкуру этого человека ему хотелось бы быть больше всего. Сент-Бев справедливо отвечает ему: «Нет, нет, в литературе никто не хочет быть не самим собой... всем хотелось бы иметь некоторые качества другого... но оставаясь всегда самим собой».

И вдруг голос его становится мягким... и он признает за Гюго великий дар посвящения: «Да, это он обучил меня тому, как делаются стихи... И он же однажды в Лувре пред картинами просвещал меня относительно живописи... все это я, правда, позабыл. Изумительнейший темперамент у этого Гюго! Его нарикмахер рассказывал мне, что волосы у него в бороде втрое жестче, чем у всех людей, об его бороду тупились все бритвы. Зубы у него были как у рыси, он разгрызал персиковые косточки. А глаза? Знаете, когда он писал свои «Осенние листья», мы каждый вечер поднимались на башню Нотр-Дам, чтобы видеть заход солнца, что, между нами говоря, не особенно меня забавляло. И вот, представьте, он видел сверху, какого цвета платье у мадемуазель Подье».

О, конечно, это организм здорового гения, но все же, чтобы поведать на дрожащих струнах души и сердца все тонкости, изысканную печаль, редкие и прелестные

фантазии — не требуется ли для этого какой-то болезненный уголок и не нужно ли наподобие Генриха Гейне в известной мере страдать физически.

28 марта. Обед у Маньи. Новый член общества — Ренан. И разговор, естественно, переходит к религии. Сент-Бев говорит, что язычество было вначале прекрасной вещью, потом оно сделалось настоящим геном, сифилисом. И христианство было ртутью против этого сифилиса; но его приняли в чересчур большой дозе, и сейчас человечеству требуется излечиться от самого лекарства.

Потом, бросив высокие теории, он говорит мне о своих детских мечтах, о чувствах, которые он испытывал в Булони, во времена Империи, при виде марширующих войск... о своем страстном желании стать военным: «Нет иной славы, кроме славы военной, нет славы кроме нее. Я почитаю только великих геометров и великих генералов», говорит он. Я понял, что, в сущности, мечтой его было стать гусарским полковником, чтобы покорять женщин. И подлинное его желание, это — быть красивым малым, — но редко в моей жизни я встречал более неудавшуюся карьеру, чем у него.

Битва разгорается вокруг Вольтера. Мы оба говорим о Вольтере-писателе, и, не касаясь его общественного и политического влияния, мы оспариваем его литературную ценность, мы осмеливаемся процитировать аббата Трюбле, определявшего Вольтера, как «совершенство посредственности», мы признаем за ним только ценность популяризатора и журналиста, и ничего более, плюс остроумие, если угодно, но остроумие не более высокого полета, чем у всех старых остроумных дам его времени... Его пьесы, но можно ли о них говорить? Его история — это ложь, пышная и глупая условность в духе самых старых и торжественных историй... Его наука, его гипотезы, это посмешище для современных ученых! Наконец, единственное произведение, в котором Вольтер продолжает жить, — пресловутый «Кандид» — это Лафонтен в прозе, окопленный Рабле... Чего стоят 80 томов Вольтера перед «Племянником Рамо», перед «Это не сказка» — этим романом и этой новеллой, которые несут в своих недрах все романы и все новеллы XIX века.

Все обрушиваются на нас, и Сент-Бев говорит в заключение, что Франция будет

свободна только тогда, когда Вольтеру воздвигнут памятник на площади Людовика XV. И от Вольтера Сент-Бев переходит к похвале Руссо, о котором он говорит как о родственном уме, как о человеке своей породы.

Слегка ошеломленный яростью этих мыслей и речей, Ренан почти не участвует в разговоре, однако он любопытствует, он внимателен, он заинтересован, он впитывает цинизм этих слов, как честная женщина, понавшая за один стол с девками.

Потом разговор снова заходит о боге.

— Удивительное дело, — говорю я, — почему это за десертом всегда говорят о бессмертии души?

— Да, — отвечает Сент-Бев, — когда уже сами не понимают, что говорят.

22 июня. Обед у Маньи.

Готье. Буржуа! Среди буржуазии происходят чудовищные вещи. Я побывал в нескольких домах. Прямо глядеть не хочется. Блуд — нормальное явление, кругом кровосмешения и скотство...

Тэн. Я знаю буржуазию довольно хорошо, я сам из буржуазной семьи... И прежде всего надо выяснить, что вы подразумеваете под буржуазией.

Готье. Людей, имеющих от пятнадцати до двадцати тысяч ренты и которые ничего не делают.

Тэн. Ладно! Я назову вам тридцать женщин из буржуазной среды, и они целомудренны.

Кто-то. Что вы можете знать, Тэн? Сам господь бог в этом не уверен.

Тэн. Вот, в Анжере за женщинами установлен такой надзор, что там плохо говорят только об одной.

Сен-Виктор. В Анжере... да, там все недерасты...

Сент-Бев. Мадам Санд, господа, собирается написать что-то из времен революции о сыне Руссо. Это будет нечто в высшей степени благородное. Она полна своим замыслом. На днях я получил от нее целых три письма... Могучая натура!

Сулье. Позвольте, у Теолона есть водевиль о детях Руссо.

Ренан. Мадам Санд — величайший художник нашего времени и самый подлинный талант.

Присутствующие (хором): О! А! О! А!

Сен-Виктор. Смешно, она пишет на почтовой бумаге.

Ренан. Сказать по правде, я не понимаю реализма...

Сент-Бев. Выпьем, я пью!

Тэн. Гюго абсолютно не искренен...

Сент-Бев. Как, Тэн, вы ставите Мюссе выше Гюго! Но Гюго, он книги пишет... Он вырвал из-под носа у этого правительства и вопреки ему, — а правительство довольно ведь сильное — величайший успех нашего времени... Он проник повсюду, в среду женщин, в круг народа, все его читали... Его книги расходятся в течение нескольких часов, с восьми до полудня... Когда я прочел его «Оды и баллады», я отнес ему все мои стихи... Писаки из «Глоб» называли его варваром... Пускай! Все, что я сделал, я сделал благодаря ему... А люди из «Глоб» за десять лет ничему меня не научили.

Сен-Виктор. Все мы приходим от него.

Тэн. Позвольте, Гюго, конечно, огромное событие нашего времени... но...

Сент-Бев (очень живо). Тэн, не говорите о Гюго!.. Вы его не знаете... Здесь только двое из присутствующих его знали: Готье и я... Но творчество Гюго — это великолепно!

Тэн. Это, кажется, то, что у вас сейчас называется поэзией: нарисовать колокольню, небо, одним словом, изображать вещи... Для меня это не поэзия, а живопись.

Готье. Тэн, вы, мне кажется, впадаете в буржуазный идиотизм. Требовать от поэзии чувствительности! Это не то. Слова лучистые, слова светящиеся... полные ритма и музыки... вот что такое поэзия. Она не доказывает ничего. Таково начало «Ратбера»... Нет в мире другой такой поэзии... Это гималайское плато. Вся Италия со всеми своими гербами здесь... А это достигается словом.

Нефдер<sup>1</sup>. Позвольте, если это прекрасно, то потому, что в этом есть мысль.

Готье. Ах, тебя я и слушать не хочу... Ты помирился с господином богом, чтобы издавать газеты. Ты поладил со стариком.

Все смеются.

Понедельник, 20 июля. У Маньи.

По поводу книги: «Виктор Гюго, описанный свидетелем его жизни», Готье заяв-

<sup>1</sup> Нефдер, Огюст (1820—1876) — французский публицист.

ляет, что на «Эрнани» он был не в красном жилете, а в розовой куртке.

И под общий смех присутствующих он добавляет: «Но ведь это очень важно. Красный жилет означал бы политический, республиканский оттенок, а ничего подобного не было. Мы были только «средневековыми». И все, Гюго тоже, как и мы. Мы не знали даже, что такое республиканец. Один только Петрус Борель был республиканец... Мы все были против буржуа и за Маршанги<sup>1</sup>. Когда я воспел античность в предисловии к «Мадемуазель Мопен»<sup>2</sup>, это означало раскол. Верно, что дядюшка Сент-Бев всегда был либералом... Но Гюго в те времена был за Людовика XVIII, да, за Людовика XVII. Пусть мне не говорят, что Гюго был либералом в 1828 году... Он только потом впутался во все это. В сущности, Гюго совершенно средневековый, в Джерсее полно гербов!»

— Готье, — перебивает его Сент-Бев, — знаете, как мы провели день премьеры «Эрнани»? В два часа мы пошли с Гюго в театр Франсе... Мы поднялись на самый верх, в самый фонарь и смотрели, как движется очередь, вся армия Гюго... На одну минуту он забоялся, увидя проходящего Ласап, потому что не дал ему билета. Я успокоил его, сказав: «Я за это отвечаю». Потом мы обедали у Вефура внизу, потому что в те времена Гюго еще не знали в лицо.

— Да, да, я преклоняюсь пред Иисусом, — говорит Ренан.

— Но, послушайте-ка, — восклицает Сент-Бев, — в его евангелии куча глупостей: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какой это имеет смысл?

— А Сакия Муни<sup>3</sup>, — вставляет Готье. — А что, если мы выпьем стаканчик за Сакия Муни?

— И за Конфуция, — говорит кто-то.

— О, он такой скучный!

— Но что может быть глупее Корана?

— Ах, — говорит Сент-Бев, нагибаясь ко мне, — все испытать и не верить ни во что. Нет ничего поллиного, кроме женщины...

<sup>1</sup> Маршанги, Луи Антуан Франсуа (1782—1826) — французский политический деятель и писатель, роялист.

<sup>2</sup> «Мадемуазель Мопен» — роман Теофиля Готье.

<sup>3</sup> Сакия Муни — одно из воплощений Будды.

Очевидно, — говорю я ему, — приятный скептицизм это и есть высшее в человеке. Не верить ни во что, даже в свои собственные сомнения... Всякое убеждение глупо... как папа римский.

23 ноября. Мы идем поблагодарить Мишле, которого мы никогда прежде не видели, за лестную фразу о нас в предисловии к его «Регентству»<sup>1</sup>.

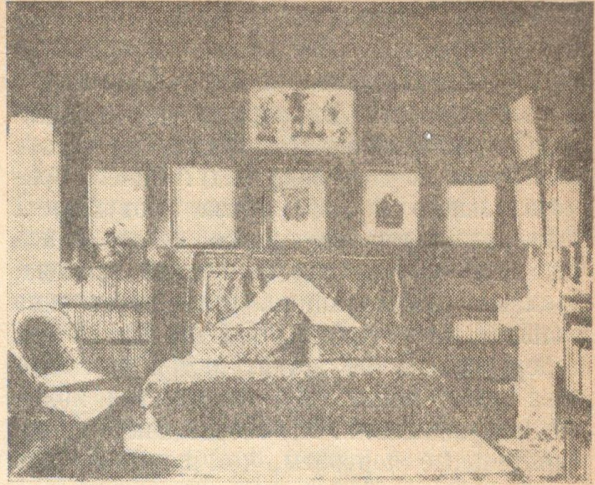
Он живет на улице Уэст за Люксембургским садом в большом, почти рабочем доме. На третьем этаже одностворчатая дверь. Прислуга открывает, докладывает о нас, и мы входим в маленький кабинет.

День меркнет. Лампа под спущенным абажуром тускло освещает мебель из красного дерева, предметы искусства, зеркала с резьбой, и комната, погруженная в этот полумрак, напоминает обстановку буржуа, завсегда аукциониров... Жена Мишле, с лицом серьезным и молодым, сидит у письменного стола, на котором стоит лампа, спиной к окну, в немного чопорной позе бухгалтерши из протестантской книжной лавки. Мишле сидит на зеленом бархатном диване, обложившись вышитыми подушками.

Он — сейчас — как его история: все, что низко, освещено, все, что высоко, — в полутьме; лицо — сплошная тень, вокруг которой снег длинных белых волос, тень, из которой исходит голос, проповеднический, звучный, с перекатами, певучий, и если так можно выразиться «чванливый», он то подымается, то ниспадает, и слышишь будто непрерывное важное воркованье.

Он говорит нам с большим уважением о нашей работе о Ватто, затем переходит к истории французской мебели, этой интересной истории, которая еще не существует. Он набрасывает нам как бы в поэтической инвентаризации итальянское жилище XVI века и огромные лестницы посреди дворца; потом громадные пристунки, пришедшие на смену лестниц и введенные в Отель Рамбулье; потом стиль Людовика XIV, неудобный и дикий, потом чудесные квартиры откупщиков, — трудно сказать что их породило, деньги ли финансистов или особый талант тогдашних столяров. Наконец, наши современные жилища, даже

<sup>1</sup> «Выдающиеся писатели, ученые, умные (я подразумеваю братьев Гонкур)» (Мишле, «Регентство»).



Кабинет Гонкуров

самые богатые... серьезные, незаставленные мебелью, пустынные.

— Вот вы, господа, вы наблюдатели! — восклицает Мишле, забывая вдруг о французской мебели. — Вы должны написать историю горничных... Я не буду говорить вам о мадам Ментенон, но вот вам мадемуазель Делонейль... И вот вам Жюли, горничная герцогини де Грамон, которая имела на нее такое огромное влияние... Мадам Дюдефан где-то пишет, что есть только два преданных ей существа: д'Алаамбер и ее горничная. О, до чего же любопытная и важная штука — участие прислуги в истории... Прислуга мужского пола меньше влияла на историю...

Через минуту он говорит о Людовике XV и о нынешнем времени. «Людовик XV — человек остроумный, но ничтожество, ничтожество!.. В наше время великое захватывает нас меньше. Оно неуловимо!.. Мы не видим Суэцкого перешейка, мы не видим прокладку туннеля в Альпах. Вот железная дорога, видишь только проходящий паровоз, немного дыма... ну, а вся дорога в сотни верст?... Да, масштаба теперешних вещей не видишь».

Мишле задумывается на минуту и потом продолжает: «Однажды я проезжал через Англию от Йорка к... Я заехал в Галифакс. Там в деревне были тротуары, трава содержалась так же образцово, как и тротуары, и вдоль них проходили бараны... все это было освещено газом. О, это странное зрелище!»

Минутное молчание и разговор продолжается:

«Заметили ли вы, что в облике теперешних знаменитых людей не видно их значи-



тельности... Взгляните на их портреты, на их фотографии... Нет больше прекрасных лиц... Замечательные люди теперь ничем не выделяются... В Бальзаке не было ничего характерного... И могли бы вы узнать Ламартина по внешнему виду? Ничего примечательного в лице, глаза потухшие... Разве что изящество осанки, несломленное годами... Потому что нынешние времена, времена аккумуляции... Да, несомненно большей аккумуляции, чем прежде. В нас теперь больше от других людей, и благодаря этому наши лица становятся менее индивидуальными... Мы скорее какие-то собирательные портреты, чем портреты нас самих...»

Так Мишле в течение почти получаса перебирает ряд высоких мыслей.

Мы поднимаемся; он идет проводить нас до двери; тогда при свете лампы, которую он несет перед собой, мы видим на мгновение этого чудесного историка от мечты, этого великого провидца прошлого, этого неповторимого собеседника; и мы видим, как он домашним жестом запахивает пиджак на животе и улыбается большими как у покойника зубами, старик-кузнецик с светлыми глазами, похожий на мелкого злобного рантье, и длинные белые волосы его разметались по щекам.

Выйдя от Маньи после обеда и пускаясь в путь медленной и покачивающейся походкой слона, который после переезда все еще помнит морскую качку, — такова теперь походка Готье, — милейший этот человек, счастливый и польщенный, как дебютант, статьями, которые посвятил ему Сент-Бев, немного недоволен, что критик, разбирая его стихи, ничего не сказал о тех стихах, куда он вложил больше всего самого себя, — об «Эмалях и Камеях».

Готье не может понять этого старания критика найти в нем сентиментальность, элегичность, любовную лирику, все, что он сам терпеть не может. Само собой разумеется, говорит он, что в тридцати томах, которые он должен был исписать, он вынужден был вводить кое-где, для удовольствия буржуа, любовные эпизоды, но две струны его творчества, два подлинных признака его таланта — это шутчество и черная меланхолия.

«Одним словом, — восклицает он, — г..... время заставило меня уходить прочь».

— Да, да, у вас тоска по обелискам, — говорим мы ему.

— Правильно, и этого Сент-Бев не уловил. Он не понимает, что мы все четверо больные... Нас ото всех отличает вкус к экзотике. Имеется два чувства экзотики: первое дает вам вкус к экзотике в пространстве, вкус к Америке, вкус к женщинам желтым, зеленым и т. д. Вкус же более утонченный, коррупция более возвышенная — это вкус к экзотическому во времени. Например, Флобер был бы счастлив, если бы мог предаваться блуду в Карфагене; а для меня соблазнительнее всего была бы мумия!

— Ну, как вы хотите, — говорим мы ему, — чтобы папаша Сент-Бев, несмотря на свое трогательное желание понять все, мог бы понять до конца такой талант, как ваш? Да, они очень милы, все эти статьи; это литература приятная и весьма искусная, но не больше. Еще никогда в своей мелочной болтовне на бумаге он не открыл человека, не дал окончательное определение какому-нибудь творению в одном слове или в одной фразе; никогда, наконец, не отольет он из бронзы медаль чьей-нибудь славы... И, несмотря на все свое желание быть вам приятным, как он может войти в вашу шкуру? Пластическая сторона вашего творчества ускользает от него; когда вы описываете наготу, это кажется ему каким-то литературным онанизмом под предлогом пластичности... Вы только что сказали об этом, вы не стремитесь вложить в такое изображение чувственность. А для него описание груди, женской ноги, наготы, наконец, неотделимо от свиных мыслей, от физического возбуждения...

## 1864

20 июня. Мы ознаменовали наше возвращение в Париж обедом у Маньи, обедом о котором «Эндепантанс Бельж» написала недавно так, как можно писать об ужинах у барона Гольбаха.

Ренан очень возбужден, очень разговорчив в этот вечер. Он громит пустую поэзию Китая, поэзию Востока... Его поддерживает Бертелло, замечательный химик, господин, который составляет и разлагает простейшие тела, — нечто в роде комнатного господина бога... Но сейчас речь не о Гюго, сейчас на очереди Генрих Гейне. Это ясно видно по лицу Сент-Бева. Готье воспевает красоту немецкого поэта и говорит, что в ранней молодости тот был красив, как сама красота, нос у него был темного ев-

рейский: «Это был, понимаете ли вы, Аиолон с примесью Мефистофеля». — «Честное слово, — говорит в гнев Сент-Бев, — я удивлен, что вы говорите об этом человеке. Ничтожество, которое брало у вас все и брало для того, чтобы помещать в газетах... который оклеветал всех своих друзей...»

— Простите, — говорит ему спокойно Готье, — я был его близким другом и всегда этим гордился, он говорил плохо только о тех людях, талант которых он не уважал.

### 1865

9 мая. Есть завистники, которые бывают так угнетены вашим счастьем, что вы почти начинаете их жалеть.

25 мая. У меня был длинный разговор с Фромантенем, одним из самых прекрасных собеседников по вопросам искусства.

Было интересно слушать, как он говорил о себе, о том, что ничего, ничего не знал о живописи, никогда не работал с натуры, никогда не делал набросков и что увиденное доходило до него только через много лет — так было и в живописи и в литературе.

Он утверждает, что его книги «Сахара» и «Саэль» были написаны им при вторичном явлении ему вещей, которые, казалось, он никогда раньше не видал; что он ищет всегда правду, но без всякой точности, например, он видел вожака с собаками, но совсем не в том месте, куда он его поместил, и вовсе не в этом путешествии.

По его словам, величайшее несчастье его и всех современных мастеров в том, что они не жили в героические времена живописи, в те времена, когда умели писать «большие полотна», и у него вырывается жалоба, что у него нет традиций, что ему не пришлось быть подмастерьем, учеником, вышедшим из мастерской Ван-дер-Мелена<sup>1</sup>.

6 июня. Нам становятся отвратительны, мы почти что презираем обедающих с нами у Маньи. Подумать только, что там собираются свободнейшие умы Франции, и однако, вопреки оригинальности их таланта, — какой нищетой отличаются их собственные идеи, мысли, определяемые их собственными переживаниями, их собственными впечатлениями, и какое отсутствие

индивидуальности темперамента! Какой у всех буржуазный страх перед чрезмерным! Сегодня нас чуть не побили камнями за наше утверждение, что Эбер, автор «Пер Дюшен», которого, впрочем, никто из присутствующих не читал, был талантлив. Сент-Бев провозгласил, что доказательством отсутствия у него таланта может служить то, что его современники в нем таланта не признали.

Все они рабы ходячих мнений, предрассудков, имеющих силу закона, кроме того они слуги Гомера или принципов 1789 года. Потому не будем больше много говорить друг с другом, скроем наши собственные мысли обо всем и пренебрежем желанием удивлять других индивидуальной собственностью наших мыслей.

3 июля. У Маньи.

Ренан рассказывал сегодня, что Боккаччо где-то признавался, что поклоняется переплету какой-то гомеровской книги, имевшейся у него в библиотеке, и в которой он не понимает ни слова. Он приходил в экстаз от одного вида корешка и названия книги. Литературные религии подобны религиям вообще. Почти всем людям свойственно почтительное восхищение перед прекрасным, выраженным на чужом языке. Человек ищет тарабарщины.

Воскресенье, 17 сентября. Меримэ только что приехал из Сен-Гратьена. У него крупные черты лица, густые черные брови, мощная осанка острого слова времен Луи Филиппа, тип провинциального школьного инспектора. Он хочет, чтобы принцесса Матильда купила виллу в Каннах, и привез с собой собственноручно сделанные зарисовки: кричащая гуань напоминает извержение Везувия, заключенное в черную рамку.

27 ноября. За чтением Виктора Гюго.

Мне кажется, я вижу разрыв, огромное расстояние между художником и обществом в наши дни. В иной век такой человек, как Мольер, был только мыслью своего общества. Он был с ним, если так можно выразиться, на равной ноге. Сейчас великие люди стали выше, а общество ниже.

### 1866

1 февраля. Все лучшее в нынешнем молодом человеке, что направлено к ин-

<sup>1</sup> Ван-дер-Мелен, Антуан (1634—1690) — фламандский художник.

триге, к богатству, к карьере, было обращено когда-то к женщине или против женщины. Все тщеславие, все притязания, весь ум, вся твердость и решимость действий и планов: все шло любви.

8 февраля. На вечере у принцессы Матильды.

Что я больше всего люблю в музыке: женщин, которые ее слушают.

Вот они здесь, как пред всепроникающим и чудесным волшебством, в неподвижности мечты, которой мгновениями касаются дрожь.

Лицо запрокидывается и разгорается нежным восторгом. Глаза в влажной истоме полужакрыты, блуждают по сторонам или поднимаются в поисках небес к потолку. Слабеющий шелест веера у груди, замирающее его трепетание, как крыло раненой птицы; у одной — рука бессильно скользит по складкам юбки; а та, веером из слоновой кости, скрывает слабую улыбку счастья, открывающую мелкие белые зубки. Безвольные рты, нежно приоткрытые губы, кажется, вдыхают парящее в воздухе сладострастье.

Ни одна женщина не осмелится взглянуть музыке прямо в лицо. Иные, склонив голову к плечу, слегка нагибаются, как будто вслушиваясь в то, что им шепчут на ухо; а другие, кажется, вслушиваются в самих себя, и тень от их подбородка ложится на жемчужные нитки, обвивающие шею.

Вдруг от мучительно скрежещущей ноты виолончели они вздрогнут в этом блаженном оцепенении; и минутная бледность, мгновенная, едва заметная белизна пройдет по их трепещущей коже. Они тянутся к этим звукам, дрожащие и отдающиеся ласке, они, кажется, пьют всем телом песнь и волнение музыки.

Месса любви! — похоже, что музыка для женщин именно это.

12 февраля. Сегодня на обеде у Маньи присутствует мадам Санд. Вот она сидит здесь, рядом со мной, у нее прекрасное, очаровательное лицо, которое с годами все больше и больше становится мулатским. Она оглядывает присутствующих с застенчивым видом и шепчет на ухо Флоберу: «Только одного вас я здесь не стесняюсь!» Она слушает, ничего не говорит. Когда читают стихи Гюго, на глазах ее выступают слезы как раз там, где автор фальшиво чувствителен.

Больше всего меня поразила в женщине-писательнице чудесная нежность ее маленьких рук, почти скрытых кружевными манжетами.

14 февраля. Во время нашего разговора входит Дюма-отец в белом галстуке, в белом жилете, огромный, потный, задыхающийся, бесконечно веселый. Он был в Австрии, в Венгрии, в Богемии... он говорит о Пеште, где его играли на венгерском языке, о Вене, где император уступил ему для выступления одну из зал своего дворца, он говорит о своих романах, о своих драмах, о своих пьесах, которых не хотят играть в «Комеди Франсез», о своем запрещенном «Кавалере Красного замка», о каких-то выгодах, которых ему никак не удастся добиться в театре, о ресторане, который он хочет открыть на Елисейских полях.

Огромное «я», «я», вполне адекватное его носителю, преисполненное добродушной детскости, но сверкающее остроумием. «Чего вы хотите, — продолжает он, — сейчас в театре наживают деньги только на трико... которые лопаются... Да, именно так нажился Гоштейн... Он велел своим танцовщицам одевать только такое трико, которое лопается... и всегда в одном и том же месте... Людям с биноклями была лафа... Но в конце концов цензура вмешалась, и этому был положен конец... И торговцы биноклями сейчас впали в отчаяние... Прямо феерия, верно? Знаете, надо, чтобы буржуа говорили, выходя из театра: «Прекрасные костюмы, прекрасные декорации, но до чего же глуп автор!» Если так говорят — это успех!»

25 февраля. Как мало мы живем, и мы, и все остальные... Тэн ложится в 9 часов, встает в 7, работает до полудня, обедает по-провинциальному рано, делает визиты, бегаёт по библиотекам, а вечером после ужина проводит время со своей матерью и играет на пианино; Флобер, как каторжник прикован к своей работе; мы живем в своем монастырском заточении, без всяких развлечений, без светских или семейных хлопот, исключая обед два раза в месяц у принцессы Матильды и сумасшедшие пробежки из любопытства по улицам.

9 апреля. У Маньи.

Сегодня Тэн очень интересно рассказывает о днях своей юности, проведенных

им в комнате, где были кучи окурков, скелет, накрытый люстрином, шкаф для платья, кровать, два стула. Это была комната его друга, студента-медика, интерна детской больницы, который посвятил себя исследованиям наследственности у детей, — его ждало великое будущее, но в 25 лет он умер в Монпелье.

Вот здесь, в этой комнате и во многих других, ей подобных, говорит Тэн, спорили о самых высоких вопросах, вопросах еще более революционных, чем те, которые поднимаются здесь, спорили с энергией, с дерзостью, яростью, со всем, что приходит в голову и направляет мысль той молодежи, которая не живет, не развлекается, не наслаждается. Ибо молодежь типа Тэна и его поколения не знала молодости, она росла в атмосфере умерщвления плоти, погруженная в работу, в науки, в анализ, читала запоем и думала только о том, чтобы вооружить себя для завоевания общества! Так и не изведав человеческой жизни, не сталкиваясь ни с мужчинами, ни с женщинами и стремясь все постигнуть через книги, это поколение стало и должно было стать критиками.

Посреди описания его трудовой жизни, лишенной любви, в возвышенном смысле этого слова, Тэна прерывает Готье, который говорит: «Все это теории бессмысленного отказа от жизни... Женщина, принятая в качестве средства, прочищающего организм, еще не лишает вас ваших идеальных устремлений... Чем больше расходуешь себя, тем больше получаешь... Я, например, разошелся с романтической школой, со школой бледности и дохлятины...

Я вовсе не был силен... Я написал Леккуру, чтобы он пришел ко мне: «Мне хочется иметь мощную грудь, как на барельефах, и непобедимые бицепсы». Леккур меня пощупал... «Это можно», заявил он мне... Каждый день я съедал до пяти фунтов кровавой баранины, выпивал по три бутылки бордо, работал с Леккуром по два часа сряду... У меня была любовница маленького роста, чахоточная, чуть не при смерти. Я с ней расстался, взял себе девушку крепкую, высокую, как я. Я приучил ее к моему режиму — бордо, баранина, гири... Ну, я стал выбивать кулаком на силомере 520...»

6 мая. Флобер сказал мне вчера: «Во мне живут два человека, одного вы видите перед собой — плоская грудь, малоподвижный, словом, человек, созданный для того,

чтобы гнуть спину за столом; другой — коммивояжер, веселый путешественник, склонный к необузданным развлечениям...

Понедельник, 22 октября.  
Обед у Маньи.

Разговор тотчас же подымается до гипотез об обитаемости планет. Как полунадутый воздушный шар, разговор несется вверх, к бесконечности, и от бесконечности он, естественно, переходит к богу. Поток формул, определяющих бога. Нам, пластикам и латинистам, которые мыслят себе бога, если он существует, только в виде старца с человеческим лицом, доброго бога в стиле Микель-Анджело, с длинной бородой, — Тэн, Ренан, Бертелло противопоставляют гегелианские определения гигантского и смутно разлитого во всем бога, для которого миры только шарики, атомы.

И Ренан, чье разгоряченное воображение пытается создать ярко раскрашенную картину живого целого, Ренан, порывшись в глубинах своего ума, после долгого молчания, предвещающего разрешение от бремени гениальной мыслью, Ренан с самым серьезным, самым благоговейным видом сравнивает перед удивленными собеседниками своего бога — угадайте с чем... — с устрицей и ее растительным существованием... Да, устрица весьма высокой марки!

При этом сравнении присутствующие раздражаются громким хохотом, к которому после минутного оцепенения от собственных слов очень мило присоединяется и сам Ренан.

Должно быть, этот гомерический смех напомнил о Гомере, во всяком случае разговор переходит на Гомера. Тогда все разрушители религий, уничтожающие бога, все эти критики в один голос восклицают, что была на заре истории человечества, такая эпоха, такая страна, такие творения, где все было обожествлено и все было вне всякого спора и даже вне всякого рассуждения.

И вот уже все захлебываются от восторга.

— А что скажете вы, — обращается к нам Тэн, — вы, которые всегда писали, что аптичность создана, чтобы кормить профессоров?

Я не хотел говорить, потому что не желал, чтобы повторилась сцена, которая была на последнем обеде, но несколько уязвленный и той и другой стороной, я нежнейшим голосом объявил, что с большим удовольствием читаю Гюго, чем Гомера,

пытаясь таким образом упоминанием имени Гюго отвести от своей головы громы и молнии Сен-Виктора.

При этом богохульстве Сен-Виктор, впад в настоящее буйство, начинает как сумасшедший вопить своим металлическим голосом, что это чересчур, что это невозможно слушать, что мы оскорбляем религию всех мыслящих людей...

25 ноября. Я встаю, разворачиваю газету... Гаварни умер... Гром среди ясного неба... Похороны происходят сейчас, когда я читаю это... И нас там не будет, мы не пойдем за гробом человека, которого мы любили больше всех, которым больше всех восхищались... Мы не увидим его более...

Множество мыслей, воспоминаний: печаль его последних дней, худые руки, с которых уже можно было снять предсмертный слепок, ласка его взгляда, голос его, такой нежный, когда он называл нас: «мои маленькие»; в его отношении к нам было что-то отцовское.

И я вспоминаю, как смерть в первый раз коснулась его, когда он, взяв меня под руку, выходил — о, ирония судьбы! — после бала из «Оперы», где ему хотелось побывать в последний раз.

Мне жалко, что я многого не сумел сохранить от Гаварни в записях... О! как очевидно становится перед лицом смерти, что жизнь это — история!

### 1867

16 января. Всемирная выставка — последний удар по прошлому: американизация Франции, индустрия главенствует над искусством, паровые молотилки вытесняют картины, одним словом — Федерация Материи.

5 февраля. Странные мы, парижане. — в этом Париже мы одиноки, как волки. В течение трех месяцев мы видались с нашими близкими только на обедах у Маньи и у принцессы Матильды. За три месяца почти ни одного визита, почти ни одного письма, почти ни одной встречи со знакомыми во время наших прогулок ночью. Мы, отчасти по доброй воле, отчасти по нужде, создаем вокруг себя одиночество, и мы рады, что нас не ранит общение с другими, и в то же время нам грустно, что мы одни.

17 марта. Изблую современников моих из уст моих. В современных литера-

турных сферах, даже в самых высоких — опощение суждений, крах мысли и сознания. Самые искренние, самые гневные, самые полнокровные среди всеобщей низости событий и горизонтов и судеб нынешнего времени, от общения с обществом, от сепаратизма с людьми, от разрушительного действия приспособленчества в атмосфере подлости, — утрачивают способность протеста и только с трудом могут заставить себя не признавать прекрасным все, что преуспевает.

24 июня. По поводу «Эрнани». Печально думать, что понадобилось 40 лет, почти полвека, чтобы вызвать рукоплескания столь же громкие, сколь громким был некогда свист.

8 августа. Заходим к Сент-Беву. Маленькая деталь, которая выдает и подчеркивает демократическую сущность этого человека. Его домашнее платье: шлафрок, носки, туфли, все это из простой «народной» шерсти — отчего он кажется похож на старого швейцара, страдающего подагрой. Вращаясь так долго в столь изящной изысканной среде, он не сумел приобрести осанку светского старца, создать себе почетное домашнее окружение.

Он долго рассказывал нам о своем деле в Сенате и о той огромной популярности, которую оно ему доставило. И невольно, пока он говорил, мы думали о том, что одна статья, вышедшая из-под горького и правдивого пера, один укол булавкой со стороны искреннего честного человека был бы достаточным, чтобы лопнула раздутая легенда о мученике с окладом в 30 000 франков, одна статья, где бы напомнили, что в 1852 году, во время белого террора, направленного против литературы, когда исправительная полиция преследовала нас, когда преследовали Флобера, в это время молчания и всеобщего рабства, Сент-Бев единственный среди писателей был, если так можно выразиться, признанным сутенером режима... И было бы небезынтересно напомнить, что именно жалование наставило его на пути истины, и что его мужество пришло к нему только тогда, когда он получил оклад несменяемого сановника и палму сенатора, которые он добыл себе, служа с поповским лицемерием всем злым замыслам Империи.

Выйдя от Сент-Бева, мы пошли к Мишле. Он сидел на низком диване, положив

руки на колени, в позе идола с восторженной улыбкой.

Он говорит нам о Руссо, который, по его словам, достиг чего-то лишь потому, что не мог в известный момент ни двинуться вперед, ни отступить назад, что он был ввергнут в отчаяние. То же самое и Мирабо... И он начинает развивать перед нами провиденциальный закон крайности в судьбе великих людей, этот тупик несчастья, когда они вынуждены бывают бросаться в воду. Он заканчивает словами: «По этому поводу существует остроумное выражение одного человека, эмигрировавшего из Франции: «В Америку надо приплыть, уцепившись за доску; человек, который высаживается на берег с чемоданами, не добьется там ничего».

3 с е н т я б р я. Между нами обоими не бывает никаких иных трений, не бывает никаких иных припадков нервной раздражительности, кроме тех случаев, когда нас охватывает отчаяние, а иногда и полное неверие в наши литературные успехи и творческие силы. От этого мы впадаем в печаль, мы озлобляемся против себя самих, и это прорывается иной раз во взаимной горечи. Это бывает, когда работа не идет, когда бессилён передать то, что чувствуешь, и достичь того идеала, который всегда в литературной работе то рождается, то ускользает из-под пера. Тогда в мрачном отчаянии или внезапном припадке пессимизма, который доводит все до крайности, возникает соблазн самоубийства, и тогда начинается яростный, отвращающий душу пересмотр всех испытанных нами несправедливостей, наших невззений, поражений, неуспехов, и мы впадаем в то болезненное состояние, от которого ежедневно страдает кто-нибудь один из нас или мучится страданиями другого.

18 с е н т я б р я. Ничего, ничего и ничего на этой выставке Курбэ. Разве только два неба в двух морских пейзажах... А кроме этого, что весьма любопытно для основоположника реализма, ни в чем не видно изучения природы. Тело его «Женщины с попугаем» так же далеко от подлинной наготы, как и любого художника академической школы XVIII века.

Кроме того, уродство, сплошное уродство и уродство буржуазное, уродство, лишенное своего большого характера, лишенное красоты уродства.

1868

2 ф е в р а л я. Уход от мира — чудесная вещь для славы и популярности живущего: Вольтер в Фернее, Гюго на Джерсее, два рифмующихся и как бы перекликающихся отшельничества. Для гения или таланта показываться — значит умалять себя.

14 ф е в р а л я. У Пайва.

Прекрасная вещь богатство, из-за него прощают все.

И никто из приходящих сюда не замечает, что этот дом — один из самых некомфортабельных домов в Париже. Невозможно выпить стакан воды с вином, ибо хозяйке взбрело в голову вместо графинов завести какие-то хрустальные колокольни, которые может поднять только специальный водонос. В теплице, где курят после обеда, мерзнешь от сквозняков, врывающихся через крыши, или задыхаешься в клубах горячего воздуха, выходящего из жерла калорифера. И примерно так во всем. Чай там сервируется блестяще, но попробуйте спросить что-нибудь, что не значится в программе, — начинается хлопотня как в самой жалкой и бедной семье.

И Готье, в этом во всех отношениях негостеприимном доме, возле этой женщины помещански отодвигающейся от него из страха, как бы его сигара не прожгла ей платье, неисчерпаемый Готье рассыпает парадоксы, возвышенные замечания, оригинальные мысли, редчайшие выдумки. Какой он собеседник! Насколько он выше своих книг, какова бы ни была их ценность — всегда слова его выше того, что он пишет. Какое наслаждение для художника слушать эту речь, в которой звучит двойная музыка, сочетающая мелодии Раблэ и Генриха Гейне: непристойную грубость и нежную печаль.

Он говорит сегодня вечером о скуке, о скуке, которая его гложет... и он говорит о ней, как поэт и как живописец скуки.

14 ф е в р а л я. Критик в известной мере всегда создает свое суждение не один, а вместе с публикой: скорее он принимает мнение, чем сам его дает.

23 м а р т а. Я заметил, что интриганы немного похожи на людей в маске: вечные шутки, за которыми они прячутся, чтобы никогда нельзя было их узнать, и никогда они не выдают серьезности и глу-

бины своих мыслей: прямо какие-то Маккиавелли шутовства.

18 мая. Обед у Маньи.

У Маньи сегодня философствует доктор Робен, речь которого полна наблюдений, открытий, начиная от самых мелких и кончая самыми высокими вопросами медицины. Сначала он говорит о мозге, потом об икрах, которые он называет чистым продуктом цивилизации, и замечает, что они отсутствуют у дикарей, так же как у деревенских почтальонов, потому что возмещение — пища и сон — не равны у них расходу энергии.

Какая жалость, какая потеря, что при таком уме наблюдателя и физиолога он не пишет книги, из которой он сегодня вечером рассказал нам любопытный отрывок о моральных последствиях легочных заболеваний: книги, даже первая строка которой еще не написана, книги, которая была бы медико-литературным описанием болезней печени, сердца, легких, болезней, столь связанных и столь поражающих чувства и мысли больного, и в этой книге все возмущения души были бы даны в страданиях тела.

7 августа. Чистая литература, книга, которую художник пишет для своего собственного удовлетворения, этот жанр, как мне кажется, скоро вымрет. Так работает только Флобер, да мы. И когда мы все трое умрем, я не знаю, кто наследует нам.

10 сентября. Валлес талантлив! Он владеет душой стиля и эпитетом как большой писатель, он написал две или три статьи — настоящие шедевры. Но он слишком часто ограничивается тем, что грозитя во всеуслышание что-то написать.

1 декабря. Мы были суровы, быть может, несправедливы к таланту мадам Санд. Мы прочли двадцать томов ее «Истории моей жизни». Среди груды рекламных выдумок там имеются превосходные картины, бесценные замечания о формировании воображения писателя, потрясающие зарисовки характеров, чудесно написанные сцены, например: описание в стиле XVIII века смерти бабушки и ее изнеженного героя, описание в чисто парижском стиле смерти ее матери — сцены, вызывающие восхищение, а порой и слезы.

Это выдающийся документ, к сожалению,

слишком бессвязный, в котором талант мадам Санд в смысле правдивости, верности наблюдений над другими и над собой, удивляет и поражает.

1869

15 января. Жизнь без минуты отдыха. Корректур, правка, листы следуют друг за другом. Каторжный труд спешных переделок. Необходимость напряженного вдохновения, которое требуется для мгновенных поправок тут же на месте. Целые дни, когда и четверти суток не остается для себя и только мечтаешь о часе, когда можно будет, не думая ни о чем, выкурить сигару, и все это в атмосфере неловкости от того, что мы спрашиваем друг друга взглядом и знаем о страданиях друг друга. Один мучится постоянными мигренями, у другого какая-то вечная желудочная болезнь, из-за которой он живет или вернее воскресает, несчастный, только по вечерам, когда зажигается газ. О! мы всегда остаемся мучениками книги, всегда, несмотря на болезни, мы на-страже работы и мысли.

7 февраля. Ирония и неразбериха нынешнего времени, где все кажется шиворот-на-выворот. Вышло так, что нас, которые больше чем кто-либо вправе жаловаться на этот режим (суд в исправительной полиции правов, где мы сидели под конвоем жандармов, суд по поводу нашего имени, которое император разрешил носить некоему господину, не принадлежащему к нашей семье, и прочее), нас, ненавидящих ненавистью художников это правительство, смертельно враждебное литературе, нас, которые в этом беспорядке расслабленной Империи не имеют иных друзей, кроме принцессы Матильды — и то еще эта дружба полна споров и борьбы по поводу всего, по поводу почти каждой мысли, — именно нас хотят убить в глазах публики клеветническим словом «придворные». И откуда только это могло взяться?

12 февраля. О, прекрасное чувство; разрезать свою книгу во всей ее девственности, во всей влажной свежести еще невысохшей брошюровки.

Понедельник, 16 февраля. До сих пор еще никто не охарактеризовал наш писательский талант. Он состоит из странного и почти единственного сочетания, в силу которого мы являемся одновременно физиологами и поэтами.

1 мая. Какое счастливое ремесло — ремесло художника, по сравнению с ремеслом писателя. У первого — свободная работа руки и глаза, у второго — вечная пытка мозга; для одного работа — наслаждение, для другого — мука.

22 мая. У Мишле.

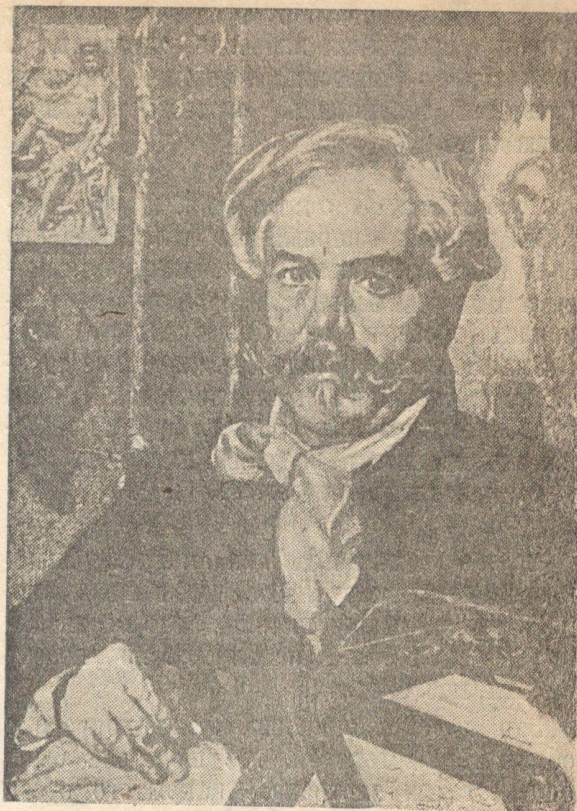
Несмотря на годы и огромную работу, этот убеленный сединами старец всегда молод, ясен мыслями и все еще блещет яркими словами, оригинальными идеями, гениальными парадоксами.

Мы говорим о книге Гюго. Мишле утверждает, что роман — это созидание, огромным напряжением какого-то чуда, то-есть полнейшая противоположность тому, что делает историческая наука — «великая разрушительница чудес». И по поводу этой теории он, со свойственными ему неожиданными поворотами мысли, приводит в пример Жанну д'Арк, которая перестала быть чудом с тех пор, как он, Мишле, показал всю слабость и несовершенство английской армии, которой противостояла сплоченность и организованность французских военных сил.

Возвращаясь к Виктору Гюго, он говорит нам, что тот представляется ему не Титаном, а Вулканом, могущественным гномом, который кует железо в огромных кузницах... в самых недрах земли... Гюго! прежде всего он колдун и влюблен в чудищ. В «Соборе Парижской богородицы» — Квазимодо... В «Человеке, который смеется» эффект достигается благодаря чудовищам... Даже в «Тружениках моря» весь интерес романа в спруте... Гюго, продолжает он, обладает силой, подстегиваемой, перевозбужденной... силой человека, который гуляет в любую погоду и купается в море два раза в день<sup>1</sup>.

Он говорит нам о том, как трудно писать современный роман по причине незначительности перемен в обществе и, будто не слыша наших возражений, переходит к «Памеле», огромный интерес которой для него заключается в изменении тогдашних нравов: превращение старого английского пуританизма в методизм, приспособление его к человеческим интересам и требованиям жизни. «Памела», добавляет он, подчеркивая улыбкой последние свои слова,

<sup>1</sup> Вот критика, высокая критика человека, который не является критиком, то, до чего никогда не додумывается Сент-Бев. *Эд. Гонкур.*



Эдмон Гонкур

(Портрет работы Бракемона)

«Памела — тип молодой девушки и магистра одновременно».

Мы говорим о выборах. Он открывает нам любопытную вещь: что народ не говорит «будущая революция», а говорит «будущая ликвидация». В наши биржевые времена гнев народа заимствует свои выражения у денежного жаргона.

1870

Прошли месяцы, долгие месяцы, как я не брал в руки перо, выпавшее из рук моего брата. В первый момент я хотел прервать этот дневник на его последних записях, на записях умирающего, который возвращался памятью к своей юности, к своему детству... К чему продолжать эту книгу? — говорил я себе. Мой путь окончен, мое тщеславие умерло... И сегодня я думаю так же, но я испытываю какое-то удовлетворение, рассказывая самому себе об этих месяцах отчаяния! Быть может, мною руководит смутное желание запечатлеть то, что в этих месяцах станет «раздирающим» для будущих читателей памяти любимого... Почему? Я не могу это объяснить, но это своего рода одержи-



мость... И я вновь берусь за этот дневник и пишу, продолжая наброски, сделанные в ночи слез, наброски, подобные крикам, которыми облегчаешь огромную физическую боль.

Суббота, 8 октября. Я видел сегодня вечером в первый раз Луи Блана, его брат подвел его к моему столику, в ресторане Петерса. У него лицо актера и семинариста, ростом он до смешного мал. В этом безволосом человеке страшное сочетание ребяческого и старческого. У него младенчески-розовые щеки, угольно-черная внутренность ноздрей, движения рта, как у шестидесятилетнего.

Понедельник, 7 ноября. Я нанес визит Виктору Гюго, чтобы поблагодарить его за милое письмо, которое знаменитый писатель прислал мне по поводу смерти моего брата.

Это на авеню Фрошо. Меня попросили обождать в столовой, где на столе были еще остатки завтрака, накрытого среди беспорядка стекла и фарфора.

Меня ввели в небольшую гостиную, потолок и стены которой были оклеены старинными обоями. В углу около камина я увидел двух женщин в черном, их черты смутно вырисовывались против света. Вокруг Гюго полулежали на диване его друзья, среди которых я узнал Вакери. В углу толстый сын Виктора Гюго в костюме национального гвардейца играл, сидя на табуретке, в компании дам, с маленьким белокурым ребенком, на котором был надет красный пояс.

Подав мне руку, Гюго снова уселся перед камином. В полумраке старинной мебели, в свете осеннего солнца эта комната, наполненная голубым дымом сигар, казалась еще темнее от поблекших обоев: все — и лица и вещи — были нечетки, немного ступеньвались, только голова Гюго, ярко освещенная, была достойно обрамлена и выглядела величаво. В его волосах были красивые, непокорные белые пряди, как у пророков Микель-Анджело, а на лице — редкое спокойствие, спокойствие почти экстатическое. Да, экстатическое, но время от времени вспыхивал и почти тотчас же погасал взгляд черных-пречерных его глаз.

Я спросил, как он чувствует себя по возвращении в Париж, и он ответил примерно следующее:

— Да, я люблю теперешний Париж, я не хотел бы увидеть вновь Булонский лес во времена его карет, колясок, ландо, он мне нравится таким, как сейчас, в рывтинах, в развалинах... Это прекрасно, это величественно! Не подумайте, однако, что я осуждаю все, что было сделано в Париже. Я первым готов признать разумность восстановления Нотр Дам де Пари, Сент Шапелль, и кто же спорит, что сейчас выстроили прекрасные новые дома...»

И на мое замечание, что парижанин чувствует себя чужим в этом Париже, который перестал быть парижским, он мне ответил: «Да, это верно, это англоязычный Париж, но, в отличие от Лондона, он, благодарение богу, обладает двумя качествами: сравнительно хорошим климатом и отсутствием угольной пыли. Я же, как и вы, предпочитаю наши старые улицы». Кто-то произнес слово «большие артерии»... «Правильно, — бросил он сидящим на диване, — это правительство, не сделав ничего для защиты от иностранцев, сделало все для защиты от населения».

Гюго сел рядом со мной и заговорил о моих книгах, которые, как он любезно мне сказал, были его утешением в изгнании... и добавил: «Вы создали типы, этой способностью большие таланты не всегда обладают». Потом, разговаривая со мной о моем одиночестве в этом мире, он сравнил его со своим, когда был в изгнании; он проповедует как средство против одиночества труд, он говорит мне в утешение о некоем сотрудничестве с тем, которого больше нет, и кончает словами: «Я лично верю в присутствие мертвых, я называю их «невидимыми»».

В гостиной полное уныние. Даже те, кто посылал бодрые статьи в газету «Раппель» откровенно признаются, что они мало верят в возможность защиты. Гюго говорит: «Настанет день — и мы подыдемся. Мы не должны погибнуть. Мир не сможет снести этого гнусного германизма. Через четыре или пять лет будет взят реванш».

Во время этого визита Виктор Гюго был любезным, простым, добродушным и насколько не велеречивым или прорицающим. Его крупная индивидуальность сказывается только в намеках, например, когда он говорил об украшении Парижа и упоминал о «Нотр Дам». Чувствуешь благодарность к нему за эту немного холодную, немного высокомерную вежливость, которая приятна в наше время пошлых излишней, когда самые великие из великих

встречают вас с первого раза восклицанием: «А, да это ты, старина!»

Среда, 9 ноября. Сегодня вечером я случайно встретился с Нефцером, с которым мы пошли выпить стаканчик у Фронтена. Мы спускаемся в погребок, посещаемый демократами. Нефцер возбужден и так оживлен, будто уже выпил несколько кружек, и смеется чудовищным смехом.

Я упоминаю о Викторе Гюго. Нефцера прорывает, и он начинает рассказывать о Гюго, которого он встречал в районе Консьержери в те времена, когда Гюго ходил туда обедать каждый день со своими сыновьями и Вакери.

Он рассказывает мне о полной неразборчивости Гюго в пище: «Прудон, — говорит Нефцер, — и один из моих друзей питались обедами по десять су. Заметьте, что за десять су вы получали три блюда, но каких! Получали и вино, но какое! — я различаю хорошие вещи от плохих, но я умею мириться и с плохими. Он же, Гюго, ничего не различает... Помню, однажды он запоздал, и мы не стали его ждать. Мы свалили остатки в кучу — чудовищная «полосатая» смесь, всякая всячина, телячье рагу, куски жареной рыбы... И что ж, Гюго набросился на все это. Мы смотрели на него, оцепенев, а он, знаете, ест как Полифем.

Гюго был очень забавен в то время, это было в момент выбора президента. Все собирались у меня. Гюго приходил ко мне и говорил ласковые слова Прудону, но в сущности Прудон относился к нему с презрением, словно к какому-нибудь музыканту.

Моя комната тогда служила для всего. Однажды устроили большой обед. Кремье принес «Константиское» вино, которое Ротшильд подарил ему, как еврею. Мадам Гюго начала говорить, говорить чересчур много, я никогда не забуду непередаваемого взгляда, которым вдруг, как громом, поразила ее Гюго и принудил к молчанию.

Когда Гюго приходил в редакцию «Ля Пресс», никогда я не узнавал его с первого взгляда: мое представление о великом поэте не вязалось с обликом стоявшего передо мной господина.. Да, вообразите себе внешность кутилы, студента в тридцать лет... он был небрежно одет... потом его манера носить узкую обувь... и его светло-серые брюки, все в пятнах, при черном сюртуке.

Когда я встретился с ним в Бельгии, это был другой человек. Он был похож на старого капитана кавалерии... Но нужно при-

знать, что и в прежнем и в новом Гюго была какая-то подкупающая приветливость, обаяние, очаровательная вежливость... Припоминаю, когда мы бывали у него с нашими женами, он при уходе помогал каждой надеть шаль, капор... У другого это было бы смешно, а у него это выходило так хорошо!»

## 1871

18 октября. Я встретился с Флобером в тот момент, когда он собирался ехать в Руан: у него подмышкой — настоящий министерский портфель, в котором на три замка заперто его «Искушение святого Антония». В фиакре он говорил мне о своей книге, о тех испытаниях, которым он подверг Фиваидского отшельника, и из которых тот выходит победителем; потом, когда мы прощались с ним на улице Амстердам, он поведал мне, что конечным своим поражением святой обязан клетке, клетке в научном понимании этого слова. Самое любопытное, что Флобер, казалось, изумился моему изумлению.

## 1872

17 января. Флобер стал так ворчлив, так резок, так раздражителен, так вспыльчив по всякому поводу и без повода, что я боюсь, как бы у моего бедного друга не сделалось болезненной раздражительности, какая бывает при начале нервного расстройства.

Среда 7 февраля. Теофиль Готье сегодня вечером, у принцессы Матильды, защищал Виктора Гюго чуть ли не один против всех. Защищал он его так: «Что бы вы ни говорили, Гюго всегда — великий Гюго, поэт дымки, туманов, моря — поэт флюидов!»

Потом он отводит меня в сторону и говорит долго и влюбленно об «Императорском драконе» и о его авторе. Чувствуется, что он горд тем, что воспитал этот ум. Чувство Востока, которым обладает молодая женщина, интуитивное понимание великих исторических эпох, ее «чутье» в изображении Китая, Японии, Индии, эпохи Александра, Рима при Адриане — наполняют его восхищением, которое он настойчиво поверяет мне.

И он добавляет, что Юдифь Готье сама себя создала, что она выработала себя своими собственными руками, что ее воспитывали как маленькую собачонку, которой

позволяли бегать по столу, что никто, в сущности, не учил ее писать.

Пятница, 9 февраля. Многие коллегционеры любят картины в ужасных дешевых рамках. Многие библиофилы любят книги в дрянных переплетах. А я люблю картины в хороших рамках из старого резного дуба. Я люблю книги в дорогих переплетах. Прекрасные вещи прекрасны для меня только тогда, когда они хорошо одеты.

Воскресенье, 24 марта. Гюго остался прежде всего писателем.

Среди сброда, который его окружает, среди глупости и фанатизма, которые он вынужден переносить, среди идиотски-жалких мыслей и слов, которыми его обманывают, этот всемирно знаменитый писатель, влюбленный в великое и в прекрасное, полон внутренней ярости. Эта ярость, это презрение, эта высокая пренебрежительность выражаются в его расхождении с единомышленниками по всякому поводу.

Иной раз, видя что гостиную его захвачена людьми в «фетровых шляпах», он бесильно, с бесконечной усталостью падает на диван, шепча на ухо другу: «Вот они, политики!»

Бедный, несчастный, великий человек пред угрозой посещения некоего X. говорит печально своим близким: «Если X. придет, мы не сможем читать стихи», а несколько минут назад он так радовался предстоящему чтению.

На-днях он сказал Юдифи, у которой спасался от какого-то своего визитера: «Хорошо было бы нам устроить небольшой заговор, чтобы вернуть Наполеонов, тогда нас ведь послали бы обратно... мы отправились бы на остров Джерсей... мы работали бы вместе».

Вторник, 26 марта. На-днях Гюго сказал Бюрти: «Говорить — для меня величайшее усилие, произносить речи меня утомляет так же, как любить три раза подряд». И после минутного раздумья: «Даже четыре».

Четверг, 28 марта. Всякий раз я нахожу Виктора Гюго на бивуаках, как будто во временном жилье.

В маленькой гостиной, куда меня вели, — два комода, один на другом, а большая резная рама, поставленная прямо на пол, занимает целый простенок. Девять часов, а у них обед. Я слышу голос Гюго среди женского смеха и стука тарелок.

Он вежливо встает из-за стола и выходит ко мне. Как человек умный и любезный, он сразу же заговаривает со мной о смерти, которую он не считает состоянием, недоступным нашим органам чувств. Он полагает, что мертвые, те, которых мы любили, окружают нас, они с нами, они вслушиваются в слова, посвященные им, радуются, что мы помним о них. Он кончает словами: «Воспоминание об умерших мне не только не причиняет боли, оно для меня — радость».

Я перевожу разговор на него, на его «Рюи Блаза». Гюго жалуется на то, что его просят написать новую пьесу. Репетиции «Рюи Блаза» мешают ему писать другую пьесу, и так как, говорит он, ему осталось творить не больше четырех или пяти лет, он хочет осуществить свои последние замыслы. Он прибавляет: «Конечно, есть выход из положения, у меня превосходные и очень преданные друзья, которые готовы взять на себя все мелочи, но все недовольные, все неудовлетворенные Мерисом<sup>1</sup> и Вакери, обращаются ко мне, беспокоят меня. В сущности, надо бы уехать».

Потом он говорит о своей семье, о своих лотарингских предках, об одном из Гюго, крупном феодале и грабителе, замок которого близ Саверна он описал, о другом Гюго, погребенном в Трев, который оставил после себя таинственный требник, зарытый под скалой, называемой Стол, возле Саарбурга, и похищенный по приказанию прусского короля.

Он долго рассказывает эту историю, уснащая ее любопытными подробностями той средневековой старины, которую он любит и так часто использует в своей прозе и стихах.

В эту минуту в гостиную врываются дамы, немного растрепанные, немного разгоряченные перигорским вином, которое они окрестили «лозой Виктора Гюго», настоящий набег буржуазных вакханок. Я спасаюсь бегством.

Гюго ловит меня в передней и очень мило, стоя возле банкетки, прочитывает мне маленькую лекцию по эстетике, которая, хоть и относится ко мне, звучит как обзор его собственной эволюции: «Вы, — говорит он мне, — историк, романист, — я опускаю все те тонкие похвалы, которыми он меня награждает, — вы художник, вы

<sup>1</sup> Мерис, Поль (1820—1905) — французский литератор.

знаете, что я тоже художник до глубины души! Я могу простоять целый день перед каким-нибудь барельефом... Но это хорошо только до определенного возраста... Позже требуется философское восприятие вещей... Это вторая фаза... Еще более поздняя, последняя, — надо проникнуть в таинственную жизнь вещей, в то, что древние называли «аркана»: тайна будущей судьбы всего живущего и людей».

И он жмет мне руку со словами: «Подумайте над этим».

Я спускаюсь с лестницы весь под властью неотразимого обаяния этого великого ума, однако в глубине души я немного иронически отношусь к мистическому жаргону, пустому и звучному, на котором вещают такие люди, как Мишле и Гюго, стараясь воздействовать на окружающих подобно каким-нибудь пророкам, вступающим в общение с богами.

Среда, 8 мая. У Теофиля Готье заметно не то, чтобы ослабление умственных способностей, — этого пока еще нет, — но как бы дремота мозга. В разговоре у него попрежнему яркий эпитет, оригинальный поворот мысли, но когда он говорит, когда строит свои парадоксы, чувствуешь в медлительности его речи, в том, как цепляется его внимание за нить и логику его мысли, чувствуешь старание, усилие, напряжение воли, которых не было прежде в свободном и как бы бездумном и стихийном зарождении слова.

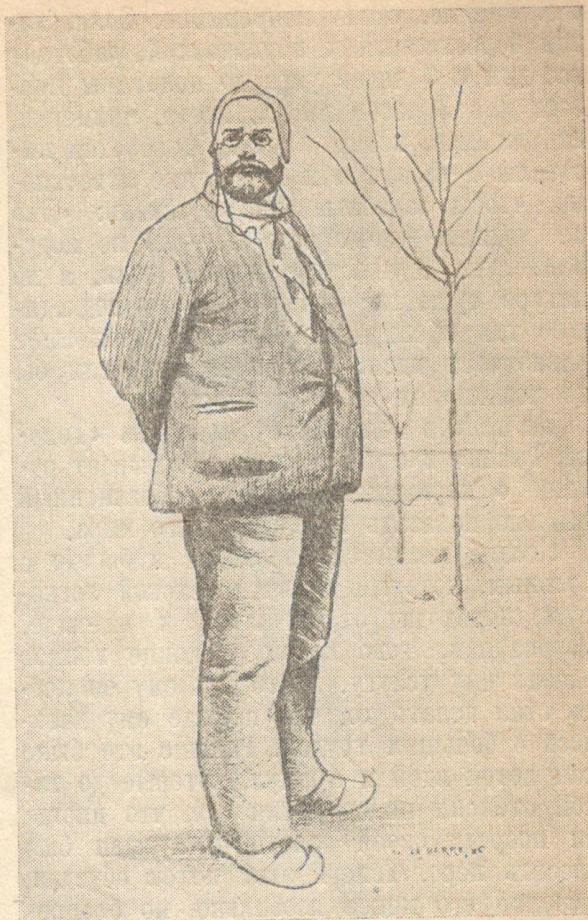
Вы видели старца, с усталым взором, который, чтобы взглянуть, с трудом поднимает тяжелые веки, — так вот Тео, чтобы говорить, требуется такое же физическое усилие всей нижней части лица, и то, что исходит сейчас от него, как будто вырвано мучительным усилием из оцепенения его спячки.

Наконец, почти незаметно нисходит на него, обволакивает, окутывает все его жесты, манеры, его слова какая-то печальная, трудно определяемая покорность, свойственная старости, впавшей в детство.

Тео мне показывает, радуясь как новичок, новое издание «Эмалей и Камней», только что вышедшее из печати, к которому Жакемар сделал его портрет, где он похож на какого-то античного поэта. Я ему говорю:

— Тео, правда ведь, вы здесь напоминаете Гомера?

— О, в лучшем случае печального Анакреона, — отвечает он.



Эмиль Золя

(Рисунок де ля Барра)

Воскресенье, 1 июня. С годами пустота, которую оставила во мне смерть моего брата, все растет. Ничто не поддерживает во мне тех склонностей, которые прежде привязывали меня к жизни. Литература мне ничего больше не говорит. Мне претят люди, общество, временами я чувствую искушение продать все мои коллекции, бежать из Парижа, купить в каком-нибудь углу Франции, благодатном для цветов и деревьев, большой участок земли и жить в полном одиночестве одичалым садовником.

Понедельник, 3 июня. Сегодня у меня завтракал Золя. Он берет обеими руками стакан бордо и говорит: «Видите, как у меня трясутся руки». И он говорит мне о зарождающейся сердечной болезни, о начинающейся болезни мочевого пузыря, о признаках суставного ревматизма.

Кажется, никогда еще писатели не рождались столь нежизнеспособными, как в наши дни, но никогда не работали они столь

напряженно, столь непрерывно. Золя, такой болезненный и нервический, работает все дни с 9 часов утра до половины первого и с 3 часов до 8. Таково, примерно, напряжение, которое сейчас требуется писателю с талантом и почти уже известному, чтобы зарабатывать на жизнь: «Это необходимо, — повторяет он, — но не подумайте, что я человек сильной воли, я по натуре существо слабое и мало подходящее для тренировки. Волю мне заменяет навязчивая идея, я заболел бы, если бы не подчинился ее одержимости».

Он теперь выкраивает пьесу из «Терезы Ракен» и одновременно обдумывает роман о парижском рынке, соблазненный мыслью показать изобилие этого мира.

Полдня незаметно проходят в беседе с больным, который с почти детской легкостью переходит от отчаяния к надежде. Журнализм, говорит он, в конце концов оказал ему услугу. Благодаря ему он легче стал делать то, что прежде ему давалось с большим трудом. Раньше это было как поток идей и формул, которые до такой степени переполняли его, что иногда он посреди своей работы вынужден был бросать перо. Теперь этот поток обуздан, течение его менее изобильно, но беспрятственно.

Вторник, 11 июня. Сегодня вечером прежний обед у Маньи, и хотя число участников меньше, чем обычно, потому что этажом ниже дает обед Гюго по поводу сотого представления «Рюи Блаза», мы чувствуем себя как в добрые старые времена Сент-Бева. Поднимаем и обсуждаем самые большие вопросы. Говорим о трюадитах; о доисторических осколках металлических пород, вывезенных из Гренландии и над которыми экспериментирует в настоящее время Бертело; о египетских статуях III века, обнаруженных в пирамиде, относящихся к эпохе введения жреческих элементов в египетское искусство. Говорим о великих цивилизациях, имеющих литературу и не имеющих ни искусства, ни промышленности, например, о браминской цивилизации, которая исчезла, не оставив после себя никакого материального следа. Говорим о мозге Софокла, Шекспира и Бальзака...

Говорим еще об остывании земли, которое наступит через несколько десятков миллионов лет. И Бертело ярко изображает, как последние люди ищут прибежища в рудниках, где плесень шампиньонов

будет им пищей, а болотный и рудничный газ — богом.

— Но, быть может, — внезапно прерывает его Ренан, который слушал его самым серьезным образом, — эти люди там внизу будут обладать великой метафизической силой.

И несравненная наивность, с которой он это произносит, вызывает смех у всех присутствующих.

Пятница, 21 июня. Я обедал сегодня у Риша вместе с Флобером, который приехал в Париж, чтобы присутствовать на открытии памятника Ронсару в Вандоме.

Мы обедаем, конечно, в отдельном кабинете, потому что Флобер избегает шума, не переносит людей, и потому что во время еды он любит снимать с себя куртку и башмаки.

Мы говорим о Ронсаре, потом Флобер сразу же начинает рычать, а я стонать о политике, о литературе, о житейских невзгодах.

При выходе мы встречаем Обрие, который сообщает нам, что Сен-Виктор<sup>1</sup> на открытии: «Тогда я не пойду в Вандом, — говорит мне Флобер. — В самом деле, чувствительность достигла во мне такого болезненного состояния... Я настолько издерган, что мне бывает ненавистна и нестерпима уже одна мысль о том, что придется видеть в вагоне лицо какого-нибудь неприятного господина... Прежде мне это было бы безразлично. Я сказала бы себе: я устроюсь, быть может, в другом купе, потом, на худой конец, если я уж никак не смогу избежать этого неприятного соседства, я обругаю его и отведу душу. А сейчас не то, — от одного только опасения, что это может случиться со мной, у меня начинается сердцебиение... Зайдемте в кафе, я напишу моему слуге, что вернусь завтра».

И потом: «Нет, я не способен больше переносить какие бы то ни было неприятности... Руанские нотариусы глядят на меня как на помешанного... Представьте себе, по делу о разделе я им сказал: пусть они возьмут себе все, что угодно, только пусть не говорят со мной; я предпочитаю, чтобы меня обкрадывали, чем чтобы меня раздражали. И так у меня со всеми, и с издателями тоже... Теперь у меня такая

<sup>1</sup> Сен-Виктор Поль де (1825—1881) — французский критик.

лень, такое нежелание действовать, что мне остается только единственное действие — работа».

Написав и запечатав письмо, он восклицает: «Я счастлив как человек, который сделал себе кастрацию. Почему? Скажите, вы знаете почему?»

Потом он ведет меня на вокзал и, облокотившись о барьер, возле которого стоит очередь за билетами, говорит мне о глубочайшей скуке, о своем отчаянии, о желании умереть и умереть без метампсихозы<sup>1</sup>, без загробной жизни, без воскресения из мертвых, на веки веков освободиться от себя самого.

Я слушаю его, и мне кажется, что я слышу собственные мои каждодневные мысли. Какое же физическое расстройство производит даже у самых сильных, у самых крепко сколоченных мозговая жизнь!.. Это так, все мы больные, полусумасшедшие, и близки к тому, чтоб совсем сойти с ума.

Суббота, 14 августа. Вчера вечером де Бээн удивил нас, сказав: «Смотрите-ка, уж полночь. Никогда мы не засиживались так поздно».

Разговор коснулся романа. Мадам де Бээн заявила, что сверхдраматические приключения светских женщин, описанные Октавом Фейе, ей не интересны, что она читала бы куда с большим интересом описания, сделанные с натуры с женщин европейских семей, с которыми она встречалась во время дипломатической карьеры своего мужа.

— Да, — ответил я, — я разделяю ваш вкус, и романы, которые писали мы с братом и особенно те, которые мы собирались написать, были именно такими романами, о которых вы мечтаете. Но нельзя создавать такие цельные романы изучения человека, без лишнего драматизма, если печь их в год по одному... Знаете ли вы, что требуются годы совместной жизни с людьми, которых хочешь изобразить, чтобы ничего не было вымышленного, чтобы не было ничего несоответствующего их подлинному своеобразию... Да, таких вот романов романист может написать не более десятка за всю свою долгую жизнь, а роман, который строится на приключениях, раздутых, преувеличенных, шаржированных, драматизированных, можно написать

<sup>1</sup> У древних — вера в переселение душ.



Альфонс Додэ

(Рисунок П. Рекуара)

в течение трех месяцев, как это делает Фейе и многие другие».

### 1873

26 февраля. Флобер выразился сегодня довольно красочно: «Да, одно только негодование поддерживает меня... Негодование для меня — это пружинка, которая бывает у кукол в зад, пружинка, благодаря которой они не падают. Когда я перестану негодовать, я упаду плашмя!» И он жестом начертил силуэт полишинеля, рухнувшего на пол.

5 марта. Я обедал сегодня с Сарду. Я видел его раза два, но еще ни о чем с ним не говорил.

В Сарду нет ничего от Дюма, ничего от презрительного высокомерия к людям, которых он не знает. Он, Сарду, обходительный малый, со всеми он на равной ноге. Кроме того он очень болтлив, болтлив как деловые люди. Он говорит только о деньгах, цифрах, выручках. Ничто не выдает

в нем писателя. Веселится ли он, острит ли, во всем, что он ни говорит, сказывается комедиант.

Чересчур многословный, когда речь идет о нем самом, он длинно рассказывает нам о запрещении его американской пьесы и в связи с этим — чудесная деталь о Тьере. На просьбы театра «Водевиль» разрешить пьесу Сарду, адресованную Тьеру, Тьер ответил, что это невозможно: «американский народ сейчас единственный, который дает Парижу зарабатывать деньги, не следует его оскорблять».

Тьер прав, когда кичится тем, что он мелкий буржуа.

Воскресенье, 16 марта. Я встретил у Флобера Альфонса Додэ, которого мне показали раньше на представлении «Генриеты Марешаль», — он горячо аплодировал.

Он говорит о Морни, при котором он выполняет нечто вроде секретарских обязанностей. Шадя его, смягчая краски словами признательности, он рисует этого ничтожного субъекта как человека, обладающего известным тактом и той пронизательностью, которая позволяет ему разбираться в людях. Додэ очень забавно и самым комическим образом рассказывает нам об этом литераторе, фабрикующем оперетты. Он описывает, как однажды утром Морни заказал ему песенку, какую-то мадагаскарскую нелепицу, что-то вроде: «Хорошая негритянка любить хорошего негра, хорошая негритянка любить хорошее жаркое!». Додэ сфабриковал и принес эту вещь. И, в восторге от первого исполнения, они забыли, что в передней ждали люди.

Суббота, 8 мая. У Вефура в кабинете «Ренессанс», где я свел когда-то Сент-Бева с Лажье, я обедаю сегодня с мадам Санд, Тургеневым, Флобером.

Мадам Санд все больше и больше мумифицируется, но она полна еще приятной детскости и веселости старых женщин прошлого века. Тургенев, по своему обыкновению, разговорчив и экспансивен, и мы предоставляем гиганту с нежным голосом рассказывать трогательные истории, полные волнующих, нежных оттенков.

Флобер начал рассказывать драму о Людовике XI, которую он, по его словам, написал в школе, драму, в которой он ставляет обнищавший народ говорить:

«Монсеньер, нам приходится приправлять овощи солью наших слез».

И эта фраза уводит Тургенева в воспоминания детства, он вспоминает о том, как он рос, вспоминает о суровом воспитании, которое он получил, и о возмущении, которое вызывала несправедливость в его юной душе. Он рассказывает, как воспитатель за какой-то мелкий проступок сначала отчитал его, потом высек, потом оставил без обеда, и он ходил по саду и с какой-то горькой радостью пил солоноватую влагу своих слез, катившихся по щекам и затекавших в уголки рта.

Он говорил потом о «сладостных» часах своей юности, когда он лежал в траве, слушая шорохи земли, и о настороженных часах, проведенных в мечтательном наблюдении природы, которые невозможно выразить в словах.

Он рассказывает нам о своей любимой собаке, которая, казалось, разделяла с ним все настроения его души, удивляя его своими глубокими вздохами в минуты, когда он тосковал; однажды вечером, на берегу озера, где Тургенева охватил мистический ужас, собака бросилась к его ногам, как бы разделяя его страх.

Потом, уж не помню в какой связи с разговором и с воспоминаниями, Тургенев рассказал нам, как однажды, будучи в гостях у одной дамы, он поднялся, чтобы уйти, и в тот самый момент дама закричала: «Останьтесь, прошу вас, мой муж придет через четверть часа, не оставляйте меня одну».

Это было сказано весьма странным тоном, он стал настойчиво допытываться причины и, наконец, она ответила: «Я не могу оставаться одна... Как только возле меня нет никого, я чувствую, как меня подхватывает и уносит куда-то в беспредельность... и я точно кукла перед судьей, лица которого я не вижу!»

16 августа. Я застал вчера Гюго, когда он договаривался с Ля Рошеллем о представлении «Марии Тюдор».

Это была сцена, достойная самой смешной комедии. Тема разговора Гюго с директором театра была проста. Гюго говорил: «Мне лично интересно теперь только одно — играть с моими внучатами. Все остальное для меня — ничто. Делайте все, как вам самому покажется лучше. Вы ведь больше меня заинтересованы в успехе пьесы». Потом, в конце всех этих видимых

уступок, незаметно возникает имя Мериса, великолепного Мериса, с которым Ля Рошель должен окончательно обо всем договориться. И попрежнему один припев: «Мне бы только, с внучатами играть, больше мне ничего не нужно».

Прощаясь, Ля Рошель, ободренный добродушием великого человека, спрашивает его, не может ли Дюмен сыграть два или три раза в какой-то другой пьесе: «Видите ли — говорит Гюго, — на ваш вопрос я вам отвечу, что имеется два Гюго: теперешний Гюго — старый дурак, согласный на все, и Гюго прежний — властный молодой человек, — он помедлил на этих словах, — тот Гюго отказал бы вам наотрез, ему хотелось бы иметь для своей пьесы нетронутого Дюмена», и сухой и властный тон, которым второй Гюго произнес это, должен был дать понять Ля Рошелю, что в сущности есть один только Гюго, и Гюго прежний и Гюго теперешний.

Сегодня революционаризм Гюго проявляется в его крайнем возбуждении, по какой причине, он не сказал. Выражение неумолимой твердости показалось на его лице, зажгло черноту его глаз, когда он говорил о «Законодательном собрании», об армии Мак Магона. Это уже не была высокомерная и ироническая враждебность мыслителя. В словах его чувствовалась какая-то беспощадность.

Среда, 17 декабря. Выдумки Флобера, что он всегда делал и выносил больше, чем все другие, приняли сегодня вечером размеры предельного шутства, он яростно спорил, почти поругался со скульптором Жакемаром, чтобы доказать тому, что в Египте у него было больше вшей, чем у Жакемара, что в паразитах он его превзошел.

Потом, напустившись на меня и тыча мне пальцем в грудь, — мне казалось, что меня ударяют кончиком рапиры, — он пытался убедить меня, что никто, никто на свете не был так влюблен, как он был влюблен однажды. Воспользовавшись случаем, он «пересказал» мне историю, которую рассказывал множество раз, историю о том, как он рисковал жизнью среди бездн и утесов, чтобы поцеловать нью-фаундленда по кличке Табор в то самое место, куда имела обыкновение запечатлеть свой поцелуй его хозяйка.

Это была страсть, которая захватила его, когда он был в четвертом классе и

которую он хранил в глубине своего сердца, несмотря на очередные влюбленности, до тридцати двух лет.

## 1874

Среда, 28 января. Сегодня на обеде у принцессы Матильды полно врачей — Тардьё, Демаркей и т. д.

Врачи не курят, и, воспользовавшись их отсутствием, кто-то заявляет в курительной комнате, что они самые ничтожные из людей. В ответ на это я протестую и утверждаю, что самая образованная среда, которую я когда-либо встречал в жизни, это среда медиков; Бланшар соглашается со мной в этом пункте, но прибавляет, что, как только они кончают учение, необходимость зарабатывать деньги — заработок врача-хирурга определяет его ценность — необходимость зарабатывать деньги отрывает их от всякой научной работы, притупляет наблюдательность бесконечными и торопливыми визитами, а чего стоит одна только беготня по лестницам. Интеллект, если вообще есть у человека интеллект, вместо того чтобы расти, слабеет.

На это Флобер восклицает: «Нет касты, которую я презирал бы больше врачебной, хотя у меня в семье все врачи от отца к сыну, включая и двоюродных братьев, ибо я единственный из Флоберов не врач... но, когда я говорю о моем презрении к этой касте, я исключаю своего отца... Помню, как он сказал моему брату, показывая ему вслед кулак, когда тот получил звание врача: «Будь я на его месте, в его летах, с его деньгами, каким бы я стал человеком!» Вы можете судить по этому о его презрении к практической медицине.

И Флобер продолжает говорить и рассказывает нам о своем шестидесятилетнем отце, как он в прекрасные летние воскресенья говорил, что идет прогуляться за город, а сам ускользал через черный ход и бежал в морг, чтобы практиковаться во вскрытиях, как первокурсник.

Он рассказывает еще, как его отец израсходовал двести франков на проезд в почтовой карете, чтобы сделать в каком-то отдаленном углу департамента операцию торговке рыбой, которая заплатила ему десятком селедков.

Среда, 4 февраля. Черта Бальзака, которую, пожалуй, не разглядят его будущие биографы.



Старый Жиро рассказывал сегодня, что он жил по соседству с директором богадельни Божон и что тот заходил к нему каждый день. Однажды директор сказал: «У меня лежит одна умирающая, она из хорошей семьи, называет себя сестрой Бальзака; мне не хотелось хоронить ее кое-как, я пошел к Бальзаку и попросил у него шестнадцать франков на гроб. Бальзак сказал: «Эта женщина лжет, у меня нет сестры в больнице. Но, ей богу, она меня интересуется и я куплю ей гроб на свой счет».

Годы шли, художник и директор больницы попережнему жили по соседству. Однажды утром директор пришел к Жиро потрясенный: «Вы помните, я вам рассказывал о сестре Бальзака? а?.. Знаете, что случилось?.. Бальзак попросил меня сегодня к себе... Я застал его умирающим, как и писали в газетах: «Мосье, — воскликнул он, увидев меня, — я сказал вам, что эта женщина, для которой вы приходили просить на гроб, не моя сестра, — не она, а я тогда солгал. Я решил признаться в этом перед смертью»<sup>1</sup>.

Пятница, 13 февраля. Вчера я провел вечер у художника, которого зовут Дега.

После множества попыток, опытов, проб во всех направлениях, он влюбился в современность, а в современном остановил свой выбор на прачках и танцовщицах. Я не могу считать его выбор плохим после того, как я сам в «Манетт Саломон» воспеваю эти две профессии, поставляющие современному художнику наиболее живописные образы женщин наших дней. И в самом деле, это розовое тело в белизне белья, в молочной туманной дымке — прекраснейший повод передать нежные и светлые тона.

И Дега показывает нам прачек и еще раз прачек, и говорит на их языке, употребляя их словечки и объясняя нам технику глажения с нажимом, глажения с размаху и т. д. и т. д.

Затем перед нами танцовщицы. В балет-

<sup>1</sup> Рассказ звучит правдоподобно. Но что это за сестра, о которой биографы ничего не говорят? Быть может, это внебрачная дочь его отца? Или, быть может, это сестра его жены? Правдивость моего рассказа подтверждается статьей Арсена Усея в «Фигаро» и «Эко де Пари». (Примеч. автора.)

ной школе, на фоне окна, фантастически вырисовываются ноги танцовщиц, спускающихся по ступенькам маленькой лестницы, и среди белых раздувающихся облачков газа пылают красные пятно шали, и мерзким контрастом служит нелепый учитель танцев. И видишь схваченные прямо с натуры, грациозные выверты и жесты этих девочек-обезьянок.

Художник показывает нам свои картины, добавляя время от времени к своему объяснению мимику какого-нибудь хореографического приема, подражая тому, что на языке танцовщиц называется «арабеской», — и, действительно, очень забавно видеть, как он, округляя руки, присоединяет к искусству танцмейстера искусство художника, говорящего о светло-болотном тоне Веласкеза и силуэтности Мантеньи.

Станный этот Дега, болезненный, нервный, с большими глазами, он боится потерять зрение, но именно поэтому он предельно чувствителен и обостренно воспринимает вещи.

Этот человек лучше всех, кого я знаю, умеет, изображая современную жизнь, уловить ее душу.

Но создаст ли он что-нибудь законченное? Не знаю. Он кажется мне человеком очень неуравновешенного ума.

Из этой мастерской я попал уже в сумерках в мастерскую Галанда, художника-декоратора, в мастерскую, которая в своем кафедральном величии, населенная маленьким мифологическим народцем среди сумрачно-серых тонов, кажется, открывается на закате с пробуждением какого-то Олимпа лилипутов, оживающего ночью.

Воскресенье, 15 марта. Я нашел Флобера внешне в довольно философическом настроении, но углы его рта были опущены, и его громовой голос был временами тих, как голос, говорящий в комнате больного.

После отъезда Золя у Флобера вырвались слова, полные горечи: «Милый мой Эдмон, что тут говорить, это полнейший провал». И после долгого молчания с его губ сорвалось: «Бывают же такие крахи».

В сущности этот провал печален для всех книгоделов: ни одного из нас не будут играть через десять лет<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Речь идет о провале пьесы Золя.

Воскресенье, 31 мая. Каждая книга моих собратьев по перу теперь мне всегда упрек.

Я отбросил сегодня в угол «Завоевание Плассана» Золя, ибо мне больно было видеть на моем столе этот красивый желтый том в новом переплете, свежотпечатанный, который, казалось, говорил мне: «А ты? ты, значит, совсем кончен?»

1875

Воскресенье, 21 марта. Альфонс Додэ живет в Маре, Отель Ля Муаньон. Это настоящий кусочек Лувра, сплошь населенный — его бесчисленные маленькие помещения, устроенные в огромных старых квартирах, заселены множеством ремесленников, имена которых высечены прямо на каменных плитах лестницы. Именно в этом доме надо было жить, чтобы написать «Фромон младший и Ризлер старший», дом, где прямо из кабинета писателя видны огромные и печальные застекленные мастерские и маленькие садики, усаженные черными деревьями, корни которых переплетаются с газовыми трубами, маленькие садики с замшелым булыжником, ограда которых сделана из ящиков.

Додэ, который живет здесь семь лет, сказал мне, что этот старый дом принес ему много пользы, что он успокоил его, образумил. У него была бурная молодость, молодость, долго хранившая в себе, по его выражению, «запоздалые волны, спины морских чудовищ после бури», ему по душе были дерзкие выходы, сомнительная компания. И что же! в этом доме, спокойном, мирном, навевающим дремоту, Додэ переменялся; и под его трудовое мурлыканье, он мало-помалу стал другим человеком.

С улицы Павэ мы идем к Флоберу пешком.

Во время долгого пути я говорю с Додэ о романе, который он сейчас пишет и в котором хочет попутно вывести Морни.

Я отговариваю его от этого. Морни, которого ему привелось узнать и оценить, должен быть на мой взгляд предметом особого произведения, произведения, в котором Додэ смог бы вывести одну из фигур, лучше всего представляющих наше время. Додэ ссылается на глухие буржуазные черты этого персонажа. Я сказал ему, что не надо их смягчать, что характерное нынешнего века — это человеческое ничтожество в величии и в шквале событий; что

если он хочет сделать Морни возвышенным, из него получится второй Максим де Трай, второй Марсей, одним словом, он создаст абстракцию. Он должен изобразить великого дипломата, мастера тайных дел интерьера со всеми чертами «третьестепенного» искусства и литературы буфф. И Додэ счел этот совет правильным.

У Флобера Тургенев переводит нам «Прометея» и анализирует «Сатира» — два творения молодого Гете, два вымысла наиболее возвышенного полета.

Слушая этот перевод, в котором Тургенев старался передать нам молодую жизнь рождающегося мира, трепет которой слышится в словах Гете, я был поражен непринужденностью и в то же время смелостью его выражений. Великие самобытные произведения на любом языке никогда не писались в стиле академическом.

Воскресенье, 18 апреля. Выйдя от Флобера, мы с Золя говорим о состоянии нашего несчастного друга, который — он нам только что в этом признался — в приступах черной меланхолии доходит до слез. И, говоря о делах литературных, являющихся причиной этого состояния и убивающих нас одного за другим, мы удивлялись «отсутствию сияния» вокруг этого знаменитого человека.

Он знаменит, у него талант, он очень славный малый и он очень приветлив. Почему же, за исключением Тургенева, Додэ, Золя и меня, на его воскресеньях, открытых для всех, не бывает почти никого? Почему?

Воскресенье, 21 мая. Русский император, — рассказывает Тургенев, — никогда не читает ничего печатного. Когда на него нападает охота познакомиться с какой-нибудь книгой или газетной статьей, для него снимают специальную копию прекрасным круглым канцелярским почерком. И Тургенев нам рассказывает, что время от времени самодержец проводит несколько недель в деревне X., где он притворяется, что сбросил с себя облик императора и велит называть себя господин Романов.

Там он как-то сказал своей семье: «Погода сегодня нехороша, не надо выходить вечером, я приготовлю вам сюрприз». Настал вечер, и император явился с рукописью в руках. «Это была моя новелла»... Мы его спрашиваем: «Имела она успех?» —

«Ни малейшего. Император по своей натуре очень сентиментален. Он выбрал новеллу весьма мало патетическую и читал ее плачущим голосом».

«Как удивительно,— говорит еще Тургенев,— как удивительно, что некоторые люди, совсем неграмотные, находят шекспировские выражения.

Есть в Санкт-Петербурге маленькие коляски, запряженные одной лошадкой, которые стоят недорого и которые я нанимал, когда был молод. Сидишь сзади кучера, совсем рядом,— и я обычно разговаривал с ним. Извозчики чаще всего бывают крестьяне, которые приезжают на сезон в столицу, но вообще крестьяне редко покидают свой дома, потому что наш крестьянин боится, что его отец будет спать с его женой... Да, это так... Я нанял одного такого извозчика и, как я вам уже сказал, стал с ним беседовать. Путь был долгий. Он начал мне рассказывать о своей умершей жене. Русские вообще не очень пежны, но этот говорил мне о своей жене с невыразимой нежностью.

«Ну, что же вы сделали, когда вошли в ее комнату?» — спросил я.

«Я взял ее за руку и назвал ее по имени». И Тургенев сказал нам по-русски имя Мари.

«А потом?»

«О, потом, это было очень глупо, я сел рядом с ее постелью», тут он сделал такое движение, будто бы ударил ладонью по земле, и прибавил с горящим взором, «да, я сказал: «откройся, ненасытная утроба».

«Ну, а потом?»

«Я лег спать и заснул».

1876

Понеделник, 21 февраля. Шатобриан в других странах — в России, Германии, в Англии,— говорит Тургенев с непоколебимым авторитетом,— не имеет никакой известности. Его прекрасная поэтическая проза — мать и кормилица всей красочной современной прозы — не пользуется никаким уважением.

Воскресенье, 5 марта. Сегодня Тургенев вошел к Флоберу со словами:

«Вчера я, как никогда ясно, увидел, насколько различны расы: я продумал об

этом всю ночь... Вот мы все, не правда ли, мы люди одного и того же ремесла, люди пера... Но вот вчера, на представлении «Мадам Каверле», когда молодой человек говорит любовнику своей матери, который хочет поцеловать его сестру: «Я запрещаю вам целовать эту девушку!», во мне зашевелилось отвращение, и будь в этом зале пятьсот русских, они бы испытали то же самое чувство... а Флобер и те, что были в ложе, не испытали этого отвращения... Я много раздумывал об этом ночью... Да, вы настоящие латиняне, в вас есть нечто от Рима и от его культа права, одним словом, вы люди закона...

А мы, мы не таковы. Как бы вам это сказать?... Да, вы люди закона, чести, а мы, как бы нас ни «деспотизировали», мы люди... — и, так как он не находил слова, я бросил ему — «человечности». «Да, именно так,— продолжал он,— мы люди менее условные, мы люди человечности».

Сегодня воскресенье, последний день выборов, меня взяло любопытство посмотреть, как выглядит салон Гюго.

На лестнице я встретил Мериса и Вакери.

В салоне поэта, почти пустом, мадам Друэ, прямая, в платье, которое носят светские вдовы, сидит направо от Гюго, благоговейно внимая. В углу дивана мадам Шарль Гюго, окруженная мягкими складками кружевного черного платья, мило улыбается, в глазах ее все оттенки тонкой иронии, вызываемой священнодействием, на котором она ежевечерне присутствует.

Из мужчин — Флобер, Тургенев, Гузьен и какой-то неизвестный юноша.

Гюго говорит об ораторах: «Не надо читать их речей. Да, это выступления приятные, выступления, о которых на третий день уже не помнишь... И, однако, господа,— говорит он, подымаясь,— разве притязания ораторов не должны заключаться в том, чтобы говорить на более долгие времена, «говорить для будущего?»

Я подаю руку мадам Друэ, и мы проходим в столовую, где на столе стоят фрукты, ликеры, сиропы.

Здесь, скрестив руки, немного откинувшись назад, в застегнутом наглухо скюртуке и с белым фуляром на шее, Гюго снова начинает говорить. Он говорит голосом тихим, медленным, не особенно звучным и, однако, очень внятно, голосом, который ласкает слова, играет ими. Он говорит, по-

лузакрыв глаза, и всевозможные «кошачьи ужимки» мелькают по его притворно-равнодушному лицу, по этому прекрасному лицу, напоминающему своим теплым тоном лица рембрандтовских синдиков. И когда голос его крепнет, на лбу странно подрагивает, подымаясь и опускаясь, седая грива.

Так Гюго философствует о Микель Анджело, Рембрандте, Рубенсе, Джордансе, которого он совершенно несправедливо, заметим в скобках, ставит выше Рубенса.

Мы провели весь этот вечер одни, ни один политик не постучал в дверь и не принял участия в наших разговорах об искусстве и литературе. В одиннадцать часов все подымаются и уходят.

1877

Понедельник, 19 февраля. Тургенев рассказывает сегодня, что рядом с домом его матушки жил управляющий, у которого были две дочери чудесной красоты, и во время своих прогулок и охоты он часто проходил мимо них.

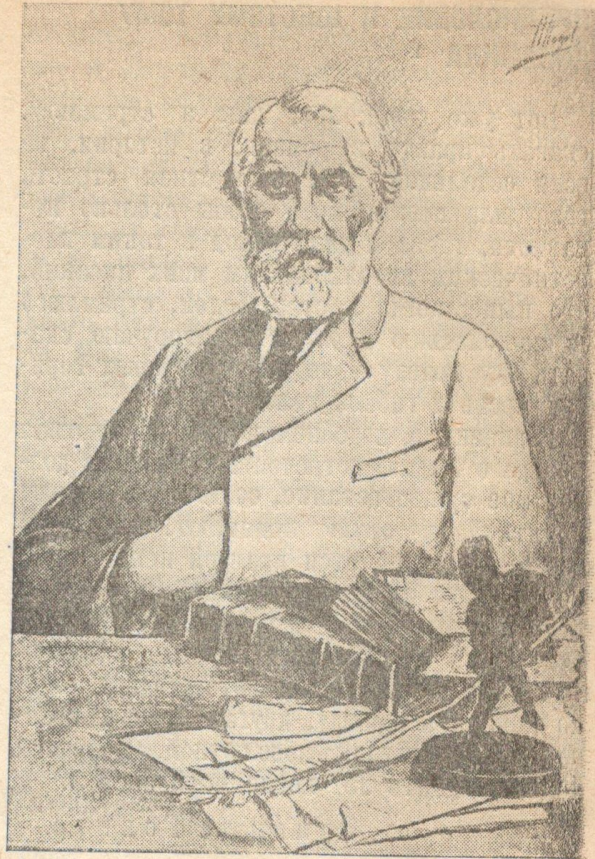
Однажды, побуждаемый желанием увидеть обеих сестер, он подошел к дому и заметил, что вся семья в волнении стоит у входа. Ему сказали, что у младшей, которая была красивей, лихорадка. Он несколько минут походил перед домом, сквозь деревянные стены до него долетали какие-то слова, неясные, но возбуждавшие его любопытство.

Наконец, уловив минуту, когда на него не обращали внимания, он вошел в дом и проник в комнату. Девушка лежала на постели совсем одетая, обнажен был только маленький кусочек шеи, очень белой. Голова ее была запрокинута назад, взгляд блуждал меж полузакрытых век, с губ красивой девушки срывались все непристойности, все сквернословия, все мыслимые мерзости, они текли, подобно струйке жижи из навозной кучи, — а возле нее плакала старая ее тетка, закрыв лицо руками.

Флобер нападает, — однако низко, низко склоняясь перед талантом автора, — на предисловия, доктрины, натуралистические декларации Золя.

Золя отвечает, примерно, следующее:

«У вас есть небольшое состояние, кото-



И. Тургенев  
(Портрет работы французского художника Фогеля)

рое избавило вас от многого... а я всю жизнь был вынужден зарабатывать деньги только моим пером, я вынужден был пройти через все виды писанины, писанины «презренной»... Ах, боже мой, мне, так же как и вам, наплевать на слово «натурализм», и однако я буду его твердить, потому что вещи надо крестить для того, чтобы публика верила в их новизну... Видите ли, я различаю две стороны в том, что я пишу, — имеются мои произведения, на основе которых меня судят и по которым я желал бы, чтобы меня судили. И имеются мои фельетоны в «Бьен Публик», мои русские корреспонденции, мои корреспонденции из Марселя, они для меня — ничто, их я отвергаю, они нужны только для того, чтобы продвинуть мои книги.

Сначала я приставил гвоздь и ударом молотка вбил его на сантиметр в мозги читателя, потом вторым ударом вбил его на два сантиметра... И вот мой молот — это моя журналистика, которую я сам развожу вокруг моих произведений.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОМУ ТОМУ ДНЕВНИКА<sup>1</sup>

Вот уже сорок лет, как я стремлюсь сказать правду в романе, в истории, во всем остальном. Эта несчастная страсть возбудила против моей особы столько ненависти, гнева и дала повод к таким клеветническим истолкованиям моих писаний, что ныне, когда я стар, болен, стремлюсь к спокойствию духа, я перепоручаю сказать эту правду молодым, у которых горячая кровь и гибкое тело.

В дневнике, подобном моему, абсолютная правда о людях, встреченных мною за долгое мое существование, состоит из правды приятной, которую приемлют, но почти всегда она умеряется правдой неприятной, которую не приемлют никак. Так вот в этом последнем томе я попытаюсь, по мере сил моих, преподнести людям, схваченным моей моментальной фотографией, только приятную правду, другая правда, которая будет правдой абсолютной, появится через двадцать лет после моей смерти.

Эдмон де Гонкур.

Декабрь, 1891 год.

### 1878

Среда, 23 января. Флобер говорит, что все идущее от Руссо, все романтики не имеют вполне ясного сознания добра и зла, и он называет Шатобриана, мадам Санд, Сент-Бева и после минутного молчания с его губ срывается: «И верно, что у Ренана нет возмущения несправедливостью».

Воскресенье, 14 апреля. Говорили о радости, которую дает вера в себя, сумасшедшая, преувеличенная, детская. По этому поводу Золя рассказал нам о Курбэ, он видел, как тот однажды стоял перед одной из своих картин и, поглаживая бороду и смеясь от души, повторял:

«До чего же смешна эта картина!»

И слово «смешная» в устах современного Иордана было равнозначно «непрезвоненному».

Пятница, 17 мая. Обед «пятерых», как нас зовут, у Шарпантье.

<sup>1</sup> Согласно воле Эдмона Гонкура шестой том был последним из опубликованных при его жизни.

Золя говорит о неуспехе «Розового бутона», игранного дней десять тому назад: «Это меня молодит... Мне как будто двадцать лет... Успех «Западни» меня расслабил... Говоря по правде, когда я подумаю о веренице романов, которые мне осталось сострять, я чувствую, что только состояние борьбы и гнева может меня заставить сделать их».

Понедельник, 2 сентября. Работая над предисловием к книге Бержерá<sup>1</sup>, я открыл, что все ужасающие парадоксы Флобера идут не от него, они от Готье. Флобер только вложил эти чудовищные мысли, которые Тео произносил самым кротким голосом,— только вложил их в свою ревущую пасть, от которой лопаются стекла.

Суббота, 21 сентября. Флобер, если только предоставит ему во всем первые роли и безропотно простужаться, сидя у окон, которые он поминутно открывает,— очень приятный собеседник. Он приветлив, весел и детски заразительно смеется, и при ежедневном общении в нем проявляется грубоватая нежность, не лишняя обаяния.

### 1879

Воскресенье, 8 июня. Завтракал сегодня вдвоем с Флобером.

Он сказал, что его дела улажены. Он назначен сверхштатным хранителем в музей Мазарини с окладом в три тысячи франков, который будет увеличен через несколько месяцев. Он прибавил, что ему было очень больно согласиться принять это и что, впрочем, он уже принял меры к тому, чтобы эти деньги были когда-нибудь возвращены государству. Его брат, очень богатый — он при смерти,— должен оставить ему три тысячи ливров ренты... С этой суммой плюс оклад и литературный заработок он снова станет на ноги.

Флобер, враг иллюстраций вообще, думает сейчас иллюстрировать свою феерию рисунками художников, «а не рисовальщиков» — говорит он с презрением.

Лицо у него, больше чем когда-либо, кирпичного цвета, еще больше окрашено в тона а ля Иорданс, и прядь длинных во-

<sup>1</sup> Бержерá Эмиль (1845—1923) — французский литератор, автор книги «Воспоминания парижанина».

лос, зачесанных с затылка на его голый череп, невольно напоминает о его краснокожих предках.

Он доволен своей ногой. Сегодня первый раз он не надел повязки.

— Да, доктор, который был у меня, ни черта не понял в моей болезни... Это просто сосед, морской врач-хирург, который случайно зашел ко мне; он поднял одеяло, грубо стукнул меня по ноге и спросил:

— Плакали? Знобило вас? Испытывали какие-нибудь внутренние сотрясения в момент падения?

— Да, я почувствовал какую-то боль в области желудка.

— Ну, ясно, берцовая кость сломана. Вот опухоль, это обычный показатель перелома...

И потом целый день яростной эстетики.

В пять часов является Золя в светлых брюках, он возвращается с «Гран-При», где изучал скачки для «Нана».

Вторник, 10 июня. Обед в узком кругу у Шарпантье, на котором присутствуют Флобер, Золя и я.

Флобер. Ну, Шарпантье, работаете вы над моим «Юлианом»?

Шарпантье. Ну, да... Но вы все еще настаиваете на витраже Руанского собора, который — вы сами это говорили — не имеет никакого отношения к вашей книге?

Флобер. Да, совершенно верно, именно потому-то я и настаиваю.

Золя. По крайней мере, разрешите Шарпантье вставить несколько рисунков в текст. Моро вам изобразит Саломею.

Флобер. Ни за что... Вы меня не знаете... Я нормандец и упрям, как истый нормандец.

Все хорошо. Но с одним вашим витражом издание не имеет никаких шансов на успех. Вы продадите двадцать экземпляров... И зачем вы настаиваете на том, что сами признаете нелепым?

Флобер. Только для того, чтобы эпатировать буржуа.

Суббота, 20 сентября. Флобер, готовясь уехать из Сент-Гратьена, делится со мной своими литературными планами:

— Да, мне остается еще написать две главы. Первая будет готова в январе, вторую я кончу в конце марта или в апреле... Тогда останутся только примечания и кни-

га выйдет в начале 1881 года... И сейчас же я засяду за книгу рассказов... Этот жанр не пользуется особым успехом, но меня преследуют две-три темы для коротких новелл. Потом я попытаюсь сделать — нечто оригинальное... Я возьму две-три руанских семьи перед революцией и доведу их до наших дней. Хочу показать — это будет неплохо, правда? — родословную некоего Пуйе-Кертье, потомка рабочего-ткача. Мне хочется написать это в диалогах, с очень подробными мизансценами. Потом мой большой роман об Империи... Но прежде всего, друг мой, я должен отделаться от одной вещи, которая меня преследует. Да, черт возьми, преследует... Это — битва при Фермопилах... Я съезжу в Грецию... Я хочу написать это, не прибегая к техническим выражениям, не буду употреблять, например, слово «кнемиды»<sup>1</sup>... Я вижу в этой войне отряд «преданных смерти», идущих ей навстречу весело и иронически... Нужно, чтобы эта книга стала для народов Марсельезой, только более высокого порядка».

## 1880

Пасхальное воскресенье, 28 марта. Сегодня мы: Додэ, Золя, Шарпантье и я, отправились обедать и ночевать к Флоберу в Круассе.

Мопассан присоединился к нам на Руанском вокзале. И вот нас уже встречает Флобер с приветливой улыбкой на добром лице, в калабрийской шляпе, в коротком пиджаке, широкие штаны висят на нем мешком.

Действительно его усадьба прекрасна; я помнил ее смутно. Необъятная Сена, на которой мачты невидимых кораблей проплывают словно в глубине сцены; огромные стволы, искривленные морскими ветрами, шпалеры деревьев, длинная аллея, выходящая на юг, перипатетическая аллея — все это настоящая резиденция писателя, резиденция Флобера, а раньше в XVIII веке здесь был монастырский дом ордена бенедиктинцев.

Обед превосходен: подают чудесные тюрбо под сливками. Пьем много вина разных сортов, и вечер проходит в рассказывании непристойных историй, от которых Флобер раздражается смехом, прыскавая как ребенок. Он отказывается читать свой роман. Он больше не может, он изнурен. Еще ра-

<sup>1</sup> Наколенники у греческих воинов.

но, но мы уже расходимся спать по комнатам, где стоят семейные бюсты.

На другой день мы встаем поздно и никуда не выходим, сидим и разговариваем: Флобер объявляет, что прогулка — ненужное «выматывание сил». Потом мы завтракаем и уезжаем.

### 1881

Суббота, 29 января. Сегодня премьера «Нана». Публика театра «Амбигю» благодушна, но в веселом настроении. После третьей картины я захожу в ложу к мадам Золя, у которой слезы на глазах, — этого я сначала не заметил в полумраке бенуара, — и так как я осмеливаюсь сказать ей, что не считаю публику такой уж недружелюбной, она бросает мне шипящим голосом: «Де Гонкур, вы, вы находите, что публика снисходительна! Не слишком же вы требовательны!» О, было бы любопытно написать историю нервных переживаний писательской четы во время премьеры.

В последнем акте сильнейший эффект: кровать в номере «Гранд Отеля», доносятся подмывающие звуки бальной музыки и кто-то невидимый просит в агонии: «Пить!»

Занавес падает под аплодисменты.

Мы в кабинете директора, где все обнимаются, а мадам Золя упрекает своего мужа в том, что он не заказал ужин заранее. И Золя, бесконечно усталый, твердит: «Ты ведь знаешь, я суеверен. Если бы я заказал ужин заранее, думаю, что пьеса провалилась бы!»

Суббота, 12 марта. Вольтер только остроумен, он обладает всем остроумием старых женщин XVIII века; но никогда это остроумие не порождает мысль, отдаленно родственную мысли Паскаля, мысли Бекона, мысли любого великого философического ума.

Суббота, 26 марта. «Бувар и Пекюше». Станный замысел для талантливого, очень талантливого человека! Кропотливо разыскивать в течение пяти или шести лет, что есть самого глупого в книгах, чтобы самому сделать из этого книгу.

Понедельник, 20 июня. Сегодня супруги Додэ, супруги Шарпантье и я едем на денек к Золя в Медан.

Золя встречает нас на вокзале в Пуаси. Он очень доволен, очень весел, и, как только мы усаживаемся в карету, он

восклицает: «Я написал двенадцать страниц моего нового романа... двенадцать страниц, чорт побери!.. Это будет самое сложное, что я когда-либо делал. Там семьдесят персонажей!» Он размахивает при этих словах мерзкой маленькой стереотипной книжечкой, которая оказывается «Полем и Виргинией», он взял ее, чтобы читать в карете.

Поместие в таком виде, как оно есть сейчас, обходится ему больше двухсот тысяч франков, а первоначальная покупная цена была, если не ошибаюсь, семь тысяч франков. Рабочий кабинет необычайной высоты и величины, на камине начертан девиз: «Nulla dies sine linea»<sup>1</sup>, и в углу стоит орган — мелодиум — с ангельскими голосами, из которого наш писатель-натуралист извлекает в сумерках аккорды.

Завтракаем весело и после завтрака идем на остров, где у него пятьдесят арпанов земли, он строит здесь шале, над которым еще работают художники, там большая нештукатуренная комната, с монументальной изразцовой печью, и все это прекрасной простоты и огромного вкуса.

Возвращаемся обедать, и разговор заходит о книге Валлеса «Баккалавр», о которой Золя недавно писал в «Фигаро». Он извиняется с некоторым пылом, что не удержался и написал эту статью в увлечении первой минуты, которое ему самому непонятно, он говорит, что в этой книге все выдумки, ложь, что там не чувствуется никакого изучения человека, и повторяет два или три раза с каким-то комическим гневом: «Для меня Валлес — конопляное семечко... ну да, только конопляное семечко».

### 1882

Четверг, 6 апреля. Я захожу в книжную лавку Шарпантье как раз, когда укладывают пирамидами, возвышающимися до потолка, тираж «Накипи», который будет пущен в продажу на будущей неделе.

Вечером у Золя; он печален, угрюм, нервно говорит о своем желании покинуть Париж, который ему «по горло надоел».

Вскоре приходят Сеар и Гюнсмандс, и весь вечер идет спор между метром и учениками.

«Пережитое», — восклицает Золя, — так ли уж это необходимо!.. Я отлично знаю, что таково требование момента, и мы в

<sup>1</sup> Ни дня без строчки (лат).

этом сами немного повинны... но в прежние времена книги без этого чудесно обходились... нет, нет, это вовсе не так необходимо, как хотят представить».

Когда ему чрезвычайно почтительно советуют почаще общаться с людьми, он впадает в гнев... «Свет... Но скажите на милость, можем ли мы в салонах узнать жизнь... там ничего не увидишь... У меня в Медане двадцать пять рабочих, от которых я узнаю о жизни в сто раз больше».

Заходит разговор о книге «Опасные связи», которую он не читал и которую я ему советую прочесть: «Читать,—повторяет он,—да на это времени нет, у меня времени на это не хватит».

Золя сидит в расстегнутой блузе, открывающей шею, он подпер подбородок руками и положил локти на столик, заставленный большими пивными стаканами, из-за которых он вынужден сдерживать свои движения; и так он сидит весь вечер, брюзжа, похожий чем-то на большого ребенка в школьной блузе, который надулся, недовольный тем, что его ругают.

Вторник, 10 апреля. Сегодня Золя пришел ко мне завтракать со своей женой.

Он, как всегда, входит с немного мрачным и растерянным видом. Он говорит о неприятностях, причиненных ему разглашением в газете «Голуа» заговора Академии, которая добилась от Жюль Симона обещания немедленно прекратить печатание «Накипи» в газете.

Потом, воодушевившись и повеселев, он говорит о «Счастье дам» — своем новом романе.

Он уже начал было писать роман с двумя или тремя героями, но, говорит он, надо писать то, что решил писать... такова его привычка... и, однако, ему было бы очень соблазнительно написать роман о материнстве, вернее, на тему спекуляции на материнстве, спекуляции, которой живет сейчас столько людей... все эти убежища, мрачные берлоги, которые кишат беременными женщинами... одним словом, нечто в духе Калло... это был бы мрачный гротеск... Кроме того, если бы найти современную мать, настоящую живую мать, можно было бы сделать прекрасную книгу.

Он перебивает себя: «Знаете, какая у меня мечта... если бы мне удалось в ближайшие десять лет заработать пятьсот тысяч франков, я бы весь с головой ушел в писание книги, которую никогда бы не

кончил, что-нибудь вроде истории французской литературы... да, это дало бы мне возможность прекратить всякое общение с публикой, отойти от литературы, не сказав об этом... мне хочется покоя... да, покоя...»

«Надо идти,—говорит он, вставая как будто чем-то испуганный,—там у меня на восемь месяцев работы! Да, восемь месяцев, в течение которых надо поднять целый мир... потом, когда это будет сделано, не зная даже, удалось ли это или нет... не зная этого в течение долгого срока... ибо требуется пять или шесть лет, чтобы быть уверенным в том, что книга, вышедшая из-под вашего пера, твердо заняла место в вашем творчестве».

Вторник, 23 мая. «У Гюго обо всем есть мысли»,—сказал кто-то за нашим столом.

«Мысли? Нет, только образы»,—возразил другой.

Четверг, 6 июля. Сегодня вторую половину дня я провожу в Медане у Золя с супругами Додэ и супругами Шарпантье.

Золя возбужден и встревожен — это характерная черта его нервных состояний. Он недоволен романом, который пишет... там чересчур много продают полотна и хлопчатобумажной ткани... На расстоянии, и прежде чем он начал писать, вещь казалась ему интереснее. Кроме того, огромный успех первых книг, независимо от него самого, отравил его будущую карьеру. И у него вырываются слова, в которых звучит глубокая грусть: «В сущности, я никогда не напишу такого романа, который брал бы за живое, как «Западня», романа, который расходился бы как «Нана!»

Возвращаясь из Медана, я думал, что брак может обойтись без детей в парижской квартире, но не в деревенском доме. Природа требует детенышей.

### 1883

Пятница, 9 февраля. Золя вчера сказал у Додэ: «Наше несчастье в том, что в нас чересчур сильна потребность доставлять себе удовольствие... мы требуем, чтобы написанная нами страница дала бы немедленно, как только она сделана, маленькую радость гармонии, удачного оборота, украшений, к которым мы привыкли с детства».



Вторник, 10 апреля. У Золя совсем особенный нос, который как будто спрашивает, одобряет, осуждает, нос, который может быть веселым, и может быть печальным, нос, в котором — весь облик Золя, настоящий нос охотничьей собаки, раздвоенный у кончика на две половинки, которые, словно трепещут, выдавая впечатления, переживания, влечения. Сегодня кончик его носа не трепещет, и как будто повторяет вслед за мрачным голосом писателя, который по поводу продажи наших будущих книг твердит на мотив: «Умрем, братья»: «Успех... прошло время нашего успеха!»

Обед кончается разговором о бедном Тургеневе, положение которого Шарко признает безнадежным. Мы говорим об этом оригинальном рассказчике, о его рассказах, которые поначалу кажутся выходящими из тумана, не обещают интереса и постепенно делаются такими захватывающими, такими занимательными, такими увлекательными, как будто какие-то красивые и хрупкие вещи медленно переходят из тени в свет и постепенно и последовательно выступают самые незначительные их детали.

Суббота, 21 апреля. Английский поэт Уайлд сказал мне сегодня вечером, что единственный современный англичанин, который читал Бальзака, — это Суинбэрн.

...Наш Тургенев настоящий писатель. Ему только что удалили опухоль из живота, и он сказал Додэ, который пришел его навестить: «Во время операции я думал о наших обедах, и я подыскивал слова, которыми опишу вам точные ощущения от стали, надрезающей мне кожу и входящей в мое тело... подобно ножу, который режет банан».

1884

Среда, 16 января. Золя пришел меня проводить... Он в затруднении из-за романа «Крестьяне» («Земля»), который он должен сейчас писать. Ему необходимо было бы провести месяц на ферме в Бос... и в определенных условиях... с рекомендательным письмом от богатого землевладельца своему фермеру... письмом, которое оповещало бы того о приезде вместе с мужем больной дамы, которая нуждается в деревенском воздухе... «Понимаете, две кровати в комнате, выбеленной известью,

вот все, что нам нужно... и, само собой разумеется, столоваться у фермера... иначе я ничего не узнаю».

Железные дороги, его роман о сутолоке вокзала и монография некоего человека, живущего в этой сутолоке, какая-нибудь драма... этого романа он сейчас не представляет себе ясно... Он больше склонен был бы написать что-нибудь о стачке в угольном районе, которая начиналась бы с первой же страницы убийством буржуа... потом суд... одни приговорены к смерти, другие к тюремному заключению... и в судебных прениях ввести серьезное и глубокое исследование социального вопроса.

...Мой друг Флобер в письме к мадам Санд говорит, что я, по его мнению, занят только тем, что вклеиваю в свои книги слова, услышанные на улице, и он утверждает, что во всем мире среди писателей кроме него абсолютно никто не способен насладиться «брачной тенью» Руфи и Вооза.<sup>1</sup>

Он забывает, что множество раз слышал, как я восторгался такими эпитетами, как «бесстрашная нагота булонских рыбаков» Мишле, как «мечтательные прыжки» Гюго в его «Празднике Терезы», и любопытно, что из-под его пера вышел этот упрек мне, написавшему в «Идеях и впечатлениях», в книге, которая, заметим в скобках, ему посвящена, — упрек мне, написавшему, что прежде всего по эпитету и именно по такому эпитету, какой он имеет в виду, узнается большой писатель. И самое забавное, что никогда, никогда ему не удавалось придумать собственных эпитетов, дерзких, смелых, и всегда у него были эпитеты только заурядно прекрасные.

...Человек, который пишет роман или пьесу, где он выводит людей прошлых времен, может не сомневаться в том, что это творение обречено на смерть, даже если он обладает большим талантом. Создавая образ ушедшего человечества, мы скрываем под его хламидой или камзолом современный мозг и сердце; единственно что может быть восстановлено — это среда.

Вторник, 27 мая. «Сафо» Додэ — книга самаявершенная, самая человеческая, самая прекрасная из его книг... книга, заслуживающая быть названной шедевром.

<sup>1</sup> Имеется в виду библейский рассказ о браке Руфи и Вооза.

Среда, 24 декабря. Сегодня Мопассан, который пришел ко мне по поводу бюста Флобера, рассказал мне об обычаях, типичных для большого света.

Сейчас светские молодые люди учатся у специального учителя чистописания модному почерку, почерку свободному от всякой индивидуальности, и который похож на четки из одних «тп».

Еще «шик» другого рода. Так как Ротшильды перепробовали все виды охоты, и нет больше зверя на земле, на которого им интересно было бы охотиться, утром по лесу протаскивают шкуру оленя и потом охотятся весь вечер с собаками, обладающими исключительным чутьем, по следу этого несуществующего зверя, как бы гоняясь за тенью. И для мадам Альфонс Ротшильд, которая очень хорошо прыгает, заранее готовят препятствия и поливают траву, чтобы в случае, если охотница упадет, она не причинила бы себе вреда.

Мопассан уверял меня, что Канны прекраснейшее место для документирования светской жизни.

### 1885

Понедельник, 9 февраля. Есть что-то роковое в том презрении, которое человек и особенно, когда он умен, испытывает к тем способностям, которыми сам не обладает. Надо было слышать, как Флобер говорил об остроумии; и хотя никто не выражает этого вслух, я чувствую, что у некоторых моих друзей вызывает какую-то снисходительную жалость мое помешательство на искусстве.

...Нет, множество трудов и занятий лишают писателя возможности насладиться перед смертью несколькими годами умственного отдыха, столь желанной отставкой от интеллектуального существования.

Суббота, 14 февраля. Сегодня вечером на Бульварах газетчики выкрикивают известие о смерти Валлеса. Золя у Додэ уверяет, что бедняга сознавал свое состояние, чувствовал свою близкую смерть. Он рассказывает, что в Мон Дор, где они были вместе этим летом, Золя часто подмечал среди оживленной беседы, что глаза Валлеса как бы начинали вращаться, и потом останавливались на одной точке, фиксируя пустоту, в то время как он замолкал на минуту и лицо его выражало страх.

«Этот остановившийся взгляд и осты-

вающая жизнь были ужасны», — говорит Золя и добавляет: «Смерть Флобера — от удара, — вот завидная смерть!»

Понедельник, 23 марта. Аугуст Зихель уверял меня сегодня, что язык Генриха Гейне совсем особый немецкий язык, язык коротких фраз, никогда не виданных в германской речи, и который, как он думает, выработался в результате изучения французского языка энциклопедистов, французского языка Дидро.

Понедельник, 6 апреля. Да, я осмеливаюсь сказать, что восхищаюсь только современными писателями и, послав к чорту мое литературное воспитание, нахожу, что Бальзак гениальнее, чем Шекспир, и утверждаю, что его барон Гюло<sup>1</sup> производит на меня впечатление более сильное, чем скандинавец Гамлет. Это, быть может, многие чувствуют, но никто не имеет мужества в этом признаться — признаться даже самому себе.

### 1886

Суббота, 27 марта. Обед у Золя. За кофе Золя и Додэ рассказывают о нищете, которую они претерпели в юности. Золя вспоминает те времена, когда его брюки и пальто очень часто бывали в закладе, и он ходил дома в одной рубашке, и его тогдашняя любовница говорила, что он «наряжается арабом».

А он едва замечал свою бедность, так его мозг был поглощен огромной поэмой в трех частях — «Рождение, Человечество, Будущее», циклической и эпической историей нашей планеты до появления человечества, в течение долгих веков его существования и после его исчезновения. Никогда он не был так счастлив, как в то время, несмотря на нищету... Прежде всего, говорит он, ни на мгновение он не сомневался в своем грядущем успехе, не потому, что ясно представлял себе свое будущее, но просто он был убежден, что добьется успеха, — очень трудно, добавляет он, выразить это чувство уверенности, которое он из скромности перед нами определяет так: «если у него не было веры в свое творчество, он верил в свои усилия».

Потом он рассказывает, как он жил в течение нескольких лет в ледяной комнате,

<sup>1</sup> Персонаж из романа «Кузина Бетта».

что-то вроде фонаря на седьмом этаже, и как он вместе со своим другом Пажо вылезали на крышу восьмого этажа. С восьмого этажа был виден весь Париж, и в то время как Пажо, будущий комиссар полиции, развлекался тем, что мочился в каминные трубы, он, Золя, стоял неподвижно в созерцании, и перед зрелищем столицы в сознании Золя, начинающего литератора, возникла мысль о покорении Парижа.

Додэ тоже говорит о своей ужасающей бедности, о тех днях, когда он буквально ничего не ел... Однако в его глазах эта нищета была приятна: он ощущал всем своим существом освобождение, он мог идти куда вздумается, делать все, что ему придет в голову, потому что он не был больше школьником.

Понедельник, 31 мая. Сравнение, которое употребляет Додэ, говоря о том, что руки его в момент пробуждения от сна напоминают «сухие листья», до того их сводит судорога, это сравнение ни на минуту не выходит у меня из головы. Он говорит мне также о каком-то «мерцании памяти», которое вызывается бромом, что «заставляет его хвататься за стропила воспоминаний», и по этому поводу он делает любопытное наблюдение, — он утверждает, что борьба Флобера со словом объясняется огромным количеством брома, которое тот поглощал.

Суббота, 11 сентября. В «Воспитании чувств» чудесна сцена посещения мадам Арну Фредерика, и она была бы подлинно превосходной, если бы вместо красиво сделанных, но книжных фраз, как например: «Мое сердце, как пыль, поднималось вслед вам», был бы все время разговорный язык, истинный язык любви.

Однако надо признать, что в этой сцене есть тонкость, особенно поразительная для тех, кто знал ее автора.

### 1887

Воскресенье, 9 января. Осталось только одно, что избавляет меня от отвращения к жизни и отчасти возвращает интерес к ней: это первая корректура новой книги.

Маргерит отправился как то на днях в Сенат повидаться с другом своего отца и встретился с Анатолем Франсом, который ему сказал: «Да, да, это ясно, Флобер совершенство, и ведь я сам это провозгла-

сил... Но, в сущности, запомните это, ему недостает одного — писать статьи по заказу... это дало бы ему гибкость, которой ему нехватает».

Суббота, 2 апреля. Как образец критической статьи о моем «Дневнике» привожу эту выдержку из газеты «Франсе». Такие статьи теряются, забываются и, когда кто-нибудь цитирует их по памяти, никто не хочет верить. Желательно поэтому, чтобы сохранилось хоть что-нибудь из их подлинного текста, чтобы позднее можно было судить о том, как консервативная и католическая партии понимают публицистику нашего толка.

...«Шедевр самовлюбленности — это «Дневник» Гонкуров. Вышел первый том, в нем не меньше 400 страниц, за ними последует еще 800. Невозможно найти ни одной интересной главы, ни строчки, которая научила бы нас чему бы то ни было...

...Хотите стать писателем? Хотите через несколько лет увидеть ваше имя напечатанным на светло-желтой обложке с обозначением тиража? Начинайте сегодня же и приступайте смело к дневнику. «27 марта. Завтракал сегодня в 8 часов. Пробежал газеты... дождь, солнце, град... обед у Х... за столом нас было двенадцать, у шести мужчин были остроконечные бородки, у шести дам рыжие волосы».

Озаглавьте это «Дневник моей жизни» или «Парижские документы» или как вам заблагорассудится. Добавьте потом к этому «Третья тысяча», и я вам гарантирую продажу сорока экземпляров<sup>1</sup>.

Пятница, 22 июля. Черточка, характеризующая литературные вкусы Гамбетты. Однажды, в последние годы его жизни, Додэ рассказал ему следующее: проходя через площадь Карусель как-то августовским днем, когда эта площадь раскалена как пустыня, он увидел позади бочки для поливки улиц бабочку, которая пролетела через всю площадь, держась в воздухе, освеженном струей воды, и Додэ восхищался умом насекомого и красотой этой картины.

<sup>1</sup> Понятно, тираж для меня не показатель ценности книги, но все же произведение, которое, по мнению критика этой газеты, должно было разойтись в 40 экземплярах, уже распространилось в 8 000 (Прим. автора.).

В ответ на этот рассказ, в который Додэ вложил столько литературного вкуса, Гамбетта посмотрел на него взглядом, полным безграничного сострадания и который, казалось, говорил, а ведь ты, Додэ, осужден навеки оставаться «Малышом».

Четверг, 29 сентября. По поводу «Паскаль Жефосс», романа Поля Маргерит, Додэ сказал, не в качестве критика этой книги, а теоретически, что после Бурже появилась целая серия психологических романов, авторы которых, по примеру Стендаля, хотят описывать не то, что делают их герои, а то, что они думают. К несчастью, мысль, когда она не выдающаяся или не слишком оригинальна, — становится скучной, в то время как действие, даже самое посредственное, приемлет читателем и интересно своим движением.

Он прибавил также, что эти психологи волей-неволей созданы скорее для описания внешности, чем изображения внутреннего мира их героев, что в силу теперешнего воспитания они могут описать очень хорошо жест и довольно плохо — движение души.

Понедельник, 10 октября. Мне попалась статья в «Либерте», содержащая критику на книгу Павловского и его разговоров с Тургеневым. Наш покойный друг выказывает себя крайне жестоким по отношению к нам, обвиняет нас в вычурности, отрицает нашу наблюдательность довольно неубедительно.

Например, по поводу ночного ужина дыган на берегу Сены — начальная сцена «Братьев Земганно», где имеется описание ивы, которую я изобразил «серой» сообразно записи, сделанной с натуры, Тургенев говорит: «Известно, что зеленое становится ночью черным». Скажу не в обиду покойному русскому писателю, что мой брат и я, мы были большими художниками, чем он, чему свидетельство весьма посредственные картины и отвратительные предметы искусства, его окружавшие. И я утверждаю, что ива, описанная мной, была именно серая, а вовсе не черная. И еще в этом же описании по поводу эпитета «свинцовая» применительно к воде, этого старого эпитета, столь частого у писателей и ставшего таким обычным, он восклицает: «До чего же вычурно!»

Говоря о «Фостэн», Тургенев, прячась

за мадам Виардо, заявляет, что наши наблюдения над переживаниями артисток архи-фальшивы. Но то, что он называет фальшивым, было написано по наблюдениям, и частью заимствовано у сестер артистки Рашель, а частью основано на драматическом признании Фаргей, письмо которой и сейчас хранится у меня.

Тургенев — это неоспоримо — незаурядный собеседник, но как писатель он ниже своей репутации. Я не хочу его оскорбить и не требую, чтобы его судили на основании его повести «Вешние воды». Да, это пейзажист, замечательный художник скрытой жизни лесов, но как художник, изображающий людей, он мал, ему не хватает смелости в наблюдениях и в самом деле, в его произведениях нет первобытной суровости его страны, суровости московской, суровости казацкой, и его соотечественники в его книгах кажутся мне русскими, нарисованными русским, который провел последние годы своей жизни при дворе Людовике XIV. Ибо, не говоря уже, что по своему темпераменту он далек всему острому, резко правдивым словам, грубым краскам, у него была прискорбная уступчивость требованиям издателей: доказательство тому «Русский Гамлет», из которого он, по его собственному признанию, следуя совету Бюло, выбросил четыре или пять фраз, как раз характеризующих героя. Эта склонность смягчать в творчестве характеры своих соотечественников вызвала однажды бурный спор между мной и Флобером, который утверждал, что эта суровость только требование моего воображения, и что русские действительно, должно быть, таковы, какими Тургенев их изображает.

Появившиеся впоследствии романы Толстого, Достоевского и других подтверждают, как мне кажется, мою правоту.

Среда, 12 октября. Размышляя о враждебности и о литературной несправедливости, если я так могу выразиться, со стороны Тургенева, по отношению ко мне и к Додэ, я объясняю себе эту несправедливость одним свойством Додэ и моего брата: иронией. Удивительно, до чего иностранцы, так же как и провинциалы, робеют перед этим чисто парижским даром, и как они легко начинают относиться с неприязнью к людям, чьи слова таят в себе для них загадочную и тайную насмешку, ключа к которой у них нет.

1888

Вторник, 10 января. В предисловии к своему новому роману Мопассан, нападая на «артистический» стиль, метил в меня, меня не называя. Уже по поводу подписки на памятник Флоберу я заметил, что искренность его оставляет желать многого. Сегодня я узнал об этих его напаках в тот самый момент, когда от него пришло письмо, где он свидетельствует мне свое восхищение и свою преданность. Я вынужден таким образом признать, что в нем силен, очень силен нормандец.

1889

Вторник, 22 января. Между прочим, мы с Золя беседуем о наших жизнях, отданных литературе, отданных быть может, так, как никто не отдавал их ни в одну эпоху, и мы признаемся друг другу, что мы были настоящие мученики литературы, ее «подъяремные животные». И Золя признается мне, что в этом году, когда близится уже его пятидесятилетие, он захвачен новым приливом жизни, желанием физических наслаждений, и вдруг он говорит: «Да, я не могу видеть, как проходит мимо девушка вроде этой, не сказав себе: «Разве это не лучше, чем книга!»

Суббота, 18 мая. С Манэ, приемы которого заимствованы у Гойи, с Манэ и художниками его школы умерла масляная живопись, то-есть живопись прекрасная, янтарной и хрустальной прозрачности, образцом которой была рубенсовская женщина в соломенной шляпе. Теперешняя живопись потеряла прозрачность, это живопись матовая, гипсовая, во многом похожая на живопись клеевыми красками. И сейчас все так рисуют, начиная с великих и кончая последним мазилкой из импрессионистов.

Понедельник, 3 июня. Да, это бесспорно: роман, подобный «Сильна как смерть», теперь не представляет для меня никакого интереса, я люблю теперь только книги, содержащие куски жизни подлинно подлинной, не заботящиеся о развязке и не приспособляющиеся к глупому читателю, на которого рассчитаны большие тиражи. Нет, меня интересует теперь только раскрытие души реального существа, а не существа химерического, каковым является всегда герой романа, представляющий сплав условностей и лжи.

Среда, 3 июля. Сегодня пришел меня навестить Октав Мирбо. Сразу же он заводит разговор о Родене. Энтузиазм, пылкие слова о выставке Родена, о его двух старых женщинах в гроте, бесполох старухах с иссохшими грудями, и которые называются, кажется «Иссякшие источники». По этому поводу он мне рассказал, что однажды он застал Родена, лепящего с натуры превосходную вещь, восьмидесятидвухлетнюю женщину, вещь еще более прекрасную, чем «Иссякшие источники», и когда он через несколько дней спросил Родена, как его скульптура, тот ответил, что он разбил ее; потом, будто устыдившись, что он разбил вещь, которую похвалил Мирбо, он сделал этих двух женщин в гроте.

Мирбо много встречался с Роденом. Роден гостил у него два раза, раз — две недели, раз — месяц. Мирбо говорит, что Роден, человек молчаливый, становится перед лицом природы говоруным, интересным собеседником и знатоком целой кучи вещей, которым он сам научился, начиная от теогоний и кончая техникой всех ремесел.

Воскресенье, 20 октября. Сегодня утром визит датского критика Брандеса, который говорит о моей популярности в его стране и в России. Его, как и меня, немного удивляет снобизм некоторых наших очень известных писателей.

1890

Пятница, 28 февраля. Расхождение театральной критики с искренним чувством настоящей публики наводит меня на такую мысль; если я еще раз затею великую театральную битву, я помещу под названием пьесы и расклею по всему Парижу объявление о том, что она исполняется каждый вечер, и еще следующее:

Я обращаюсь к независимости публики и прошу ее, если она находит это справедливым, опровергнуть, как это было сделано в случае с «Жермини Ласертэ», суждение, вынесенное в газетах театральной критикой.

Эдмонд де Гонкур.

Четверг, 16 октября. Держа корректуру «Утамаро», я думал о склонности моего ума работать только над новым, над материалом, нетронутым другими. Сначала — изыскания неизданных автографов и

документов XVIII века, потом — и раньше всех — натуралистический роман, сейчас — работа над японскими художниками, чьи биографии еще не изданы.

У Шарпантье я встретился с Золя, который принес начало рукописи своего романа «Деньги». Его книга состоит из двенадцати глав, он написал восемь, ему осталось только четыре... Он не совсем доволен своей книгой, но не надо об этом говорить вслух... это может повредить... были у него и другие книги, которыми он не был доволен и которые, однако, имели успех... и потом невозможно чтобы все книги, когда их производят в таком количестве, были равноценны... Наконец, «Деньги» хороши как стимул... но в этих «Деньгах», если их рассматривать как исследование, слишком много денег.

Воскресенье, 23 ноября. Погода такая, что добрый хозяин собаки на двор не выгонит, а я уже в пять часов встаю с постели и отправляюсь в Руан вместе с Золя, Мопассаном и т. д. и т. д.

Я был поражен скверным видом Мопассана, его худобой, кирпичным цветом лица, «печатью обреченности», как говорят в театре, лежащей на всей его фигуре, и болезненной неподвижностью его взгляда. Он, как мне кажется, не жилец на этом свете. В Руане, проходя через Сену, он протягивает руку к одетой туманом реке и восклицает: «Моим теперешним состоянием я обязан утренней гребле».

Визит к больному Лапьеру, который не встает с постели, и потом завтрак у мэра.

На дворе попрежнему дождь, туман и ветер, обычная погода при всех празднествах в Руане, а руанские жители, совершенно равнодушные к готовящейся церемонии, идут куда угодно, но только не сюда. Человек двадцать парижан — писателей и репортеров — и празднество с навесом для начальства и ярмарочной музыкой, совсем как на сельскохозяйственной выставке в «Мадам Бовари».

Сначала посещение музея, осмотр рукописей Флобера, над которыми склонилась делегация школьников, потом, наконец, открытие памятника.

Чорт побери, я не могу прочитать у себя дома и страницы своей прозы двум или трем друзьям, чтобы у меня не задрожал голос, и признаюсь, я очень волновался, как бы речь моя не застряла у меня в глотке после десятой фразы.

«Господа!

После нашего великого Бальзака, отца и учителя всех нас, Флобер был изобретателем реальности, быть может столь же насыщенной, что и реальность его предшественника, и бесспорно реальности более художественной, реальности, которая улавливалась неким безупречным объективом, реальности, которую можно было бы определить как «строго с натуры», переданной в прозе поэтом.

И Флобер, создавший те существа, которыми он заселил мир своих книг, этот воображаемый мир, имеющий внешнюю реальность, должен был обладать той творческой способностью, которая дается только немногим, способностью творить их, я сказал бы, как творит сам господь бог. Да, он оставил после себя мужчин и женщин, которые будут для людей грядущих веков не просто книжными персонажами, а как бы действительно умершими, так, что будут пытаться искать материальный след их пребывания на земле. И мне кажется, когда-нибудь на этом самом кладбище у входа в город, где покоится прах нашего друга, какой-нибудь читатель, растроганный и благоговеющий, будет искать рассеянным оком, рядом с могилой прославленного писателя, надгробный камень мадам Бовари.

Флобер в романе был не только художник, изображавший современность, он, подобно Карлейлю и Мишле, воскреситель старых миров, исчезнувших цивилизаций, умерших поколений. Он оживил перед нами Карфаген и дочь Гамилькара, Фиваиды и их отшельника, средневековую Европу и ее Юлиана Милостивого. Он показал нам силой своего описательного таланта места, перспективы, среду, которых мы не узнали бы, не будь его магического дара.

Но позвольте мне вместе со всеми вами больше всего любить талант Флобера в «Мадам Бовари», в этой гениальной монографии буржуазного адюльтера, в этой бесспорной книге, которую, пока существует литература, не превзойдет никто.

Я хочу также кратко остановиться на его чудесном рассказе, на трогательном изображении души из народа, которая носит название «Простое сердце»...

Здесь у вас в Нормандии, господа, в глубине старинных шкапов, где хранится белье и все, чем дорожат бедняки, иной раз ваш рыбак и ваш крестьянин на внутренней стенке этого шкапа неуклюжими буквами, начертанными загубелой рукой,

отмечают кораблекрушение, брак, смерть ребенка, одним словом, десяток больших и малых событий, историю всей своей убогой жизни. Такая надпись внутри шкапа — наивная «книга разума» бедняков. Ибо, господа, читая «Простое сердце», я испытываю такое чувство, будто я читаю историю, которая свою наивность и трогательную простоту заимствовала у надписей, сделанных на этих старых дубовых дощечках вашим крестьянином и вашим рыбаком.

Теперь, когда он умер, наш бедный великий Флобер, теперь готовы признать его гений, готовы чтить его память. Но знают ли, что при его жизни критика лишь нехотя признавала за ним даже простой талант. «Нехотя» — это слабо сказано! Эта жизнь, дававшая нам шедевр за шедевром, что принесла она ему? Непризнание, оскорбления, моральную голгофу! О, какую прекрасную можно было бы написать книгу мести за все ошибки и все несправедливости, причиненные критикой писателям, начиная от Бальзака и кончая Флобером. Я припоминаю статью некоего политического журналиста, который утверждал, что проза Флобера бесчестит царствование Наполеона III, я припоминаю также статью в одной литературной газете, где его упрекали за «эпилептический» стиль. Вы знаете сейчас, каким ядом был напоен этот эпитет для человека, которому он был адресован.

И что ж, под этими нападками и позже, в наступившем молчании отчасти, быть может, даже сознательном, скрывая глубоко в самом себе горечь своего литературного пути и не давая ее почувствовать другим, Флобер оставался добрым, независливым к баловням литературы, он сохранил до конца свой добродушный, сердечный, детский смех, он всегда старался увидеть у своих братьев то, что у них было достойно похвалы, и в дни наших литературных неудач он умел найти слова, которые поднимают, облегчают, облагораживают, слова дружественного ума, в которых мы так часто нуждаемся все, и великие и малые. Не так ли, Додэ? Не так ли, Золя? Не так ли, Мопассан? Не таков ли был наш друг? И видели вы хоть раз у него злое чувство, кроме как по отношению к слишком уж большой глупости?

Да, он был до глубины души добр, наш Флобер, и он обладал, сказал бы я, всеми буржуазными добродетелями, если бы я не

боялся огорчить этим словом его тень, ведь он раз навсегда принес в жертву свое состояние и благополучие семейным интересам и чувствам с беспримерной простотой и благородством.

Наконец, господа, в наше время, когда деньги угрожают превратить искусство и литературу в «промысел», он, Флобер, всегда, всегда даже в ущерб своему материальному положению отказывался от соблазнов, от выгод, доставляемых этими деньгами; и он, быть может, был одним из последних представителей того старого поколения бескорыстных тружеников, которые не мыслили для себя иных книг, кроме созданных огромным трудом и величайшим напряжением ума, книг, абсолютно удовлетворяющих их литературный вкус, книг, плохо покупаемых и за которые дарят немного посмертной славы.

#### 1891

Четверг, 30 апреля. Додэ утверждал сегодня, что все написанное Бурже и другими о Бодлере совершенно не соответствует истине. Он утверждал, что Бодлер был «возвышенным» в духе Мюссе, но стихи писал плохо, не овладев ремеслом поэта; он прибавляет, что Бодлер был прозаик трудный, усидчивый, без горизонтов, без порывов, что в этом непогрешимом писателе не было ничего от непогрешимого писателя, но чем Бодлер обладал в высшей степени и благодаря чему он достоин того места, которое занимает, — это богатство мысли.

Четверг, 2 июля. В литературной жизни есть щекотливый момент — это общение со злыми критиками; оказать им дурной прием это не по-джентльменски, быть с ними любезным, в этом есть что-то пошлое. Поэтому я хочу посвятить в моем дневнике, в тех томах, которые еще появятся, Сарсею<sup>1</sup> и другим такие строки, чтобы мы могли, как люди взаимно обруганные, пожать друг другу руки, как равный равному.

Пятница, 3 июля. В литературе, как мне кажется, человек, не одаренный литературно, может достигнуть известного ощущения материала. Но в музыке и в живописи человек, не одаренный музыкально и

<sup>1</sup> Сарсей, Франциск (1827—1899) — театральный критик и романист.

художественно, обречен не иметь никогда чувства тонкого понимания музыки или живописи. Такая уж это тонкая штука — звук, оттенок, и все, что пишут о живописи — касательно чувств, ума, непосредственности, честности, — вранье, все эти свойства выдуманья Тьерами, Гизо, Тэнами, всеми этими профессорами живописи, которые никак не смогли бы отличить гнусную копию от оригинала. В живописи есть только оттенок и красота красок.

Среда, 15 июля. Сегодня у Додэ большой обед, на который приглашены супруги Золя, супруги Шарпантье и Коппе.

Входит Золя. Это уже не прежний меланхолический пытик. Сегодня в его походке, в его словах есть какая-то энергия, резкость почти как у бойца. И в его словах звучат поминутно имена Буржуа, Констана, которым он писал, с которыми он виделся, и любознательно наблюдать, как он захвачен политическим тщеславием.

Вскоре приходит Коппе, он приехал из Комб ля Виль, из маленькой деревушки по ту сторону Сенарского леса, где он поселился этим летом. Загорелая кожа Коппе, пронзительная ясность его глаз цвета морской воды — придают этому парижанину вид старого морского волка.

Усаживаемся на маленькой терраске и говорим о плохом отношении к нам молодой критики. По этому поводу Золя повторяет: «Ну и пусть травят! Что ж такого? Плевать!» И он говорит, что его лично это забавляет и что ему доставляет тихую радость наслаждаться вечерами разносной статьёй, которую он заметил еще с утра. И он начинает объясняться в любви своим зоилам, защищая от нас декадентов и символистов, пытаясь найти в них достоинства и вызывая своим благородным рвением изящную шутку Коппе: «Как, Золя? вы уже стали заниматься цветом гласных?»<sup>1</sup>

Садимся за стол, нервозность еще слышится в голосах, а в словах — отзвуки споров.

Разговор заходит о «Мечте», что дает повод Коппе спросить Золя, правда ли, что он играл на кларнете. И Золя начинает восхвалять кларнет и говорит, что этот инструмент изображает любовь чувственную, в то время как флейта в лучшем случае — любовь платоническую. «Как гобой

изображает иронический пейзаж», прерывает кто-то шуткой музыкальную философию Золя, и Золя начинает длинно рассказывать о своем коньке — написать либретто оперы в прозе, и о том, какая прекрасная вещь может таким образом получиться из соединения литературы и музыки. На это Додэ восклицает, что для людей, которые по-настоящему любят музыку, музыка есть искусство, не нуждающееся в сочетании с каким-нибудь другим искусством, скорее наоборот.

Золя хранит молчание... и потом, глубоко вздохнув, и голосом жалобным как у ребенка, бросает: «Почему вы против моего проекта оперы?»

При выходе из-за стола спор с музыкой переходит на войну 1870 года, — тема его будущей книги. При условии, что в его романе не будет никаких «свинств», говорит Золя, Маньяр охотно напечатал бы его роман в «Фигаро», но сам Золя испугался такой гласности. Он побоялся, что некоторые главы могут показаться недостаточно патриотическими, он побоялся, что описание битвы на двухстах страницах будет скучно, он побоялся, что книга будет расходиться хуже, раз она была опубликована в большой газете, и он заключил договор с «Ви Полюлер».

Потом Золя, заговорив о своих посещениях Академии, очень мило и смешно рассказывает нам о разговорах с академиками, которые против его кандидатуры.

Пятница, 11 сентября. В теперешних литературных спорах никто не сказал еще того, о чем я говорил по поводу Флобера, — что большой талант в литературе означает создание на бумаге существ, которые займут место в воспоминании людей, подобно существам, сотворенным богом и как бы прожившим на земле настоящую жизнь. Это и есть то, что делает бессмертным старинную или современную книгу, ибо декаденты, символисты и прочие молодые могут создавать звучные стишки, но никогда, никогда, никогда не создадут они то существо, о котором я говорил, и даже существо второго или третьего порядка.

## 1892

Воскресенье, 6 марта. Обед у Шарпантье в обществе музыкантов, все они как на подбор старые, уродливые, толстобрюхие, все брюзжат.

<sup>1</sup> Французские поэты-символисты пытались найти соответствие между звуками в поэзии и цветом.



Золя заводит со мной разговор о том как ему трудно кончать «Разгром», об огромной рукописи этой книжицы, в которой будет 600 печатных страниц, и заявляет, что сейчас уже написано тысяча страниц по тридцати пяти строчек, маленьких страниц, на которых он обычно пишет, — четвертушка листка из школьной тетради.

Так как кто-то спрашивает его, что он будет писать после «Рюгон-Маккаров» и после «Доктора Паскаля», он колеблется с минуту, потом признается, что театр, одно время его соблазнявший, не так уж привлекает его теперь, когда он мог бы сделать что-либо для театра. И он говорит, что, когда он входит в зрительный зал, где играют его пьесу, он испытывает к ней отвращение. Он вспоминает по этому поводу, как однажды, придя на представление «Западни», кажется, на десятое, он увидел, что Дай, опьяненный успехом, шаржировал самым гнусным образом, добавлял свои слова к тексту, так что Золя был почти готов составить официальный протокол всех этих добавлений и «обогащений» роли и запретить их через суд.

Здесь он переходит к другому и рассказывает, что в Лурде был потрясен, поражен зрелищем галлюцинирующей толпы верующих, и что можно бы написать прекрасную вещь об этом возрождении веры, чем по его мнению объясняется нынешнее проникновение мистики в литературу и другие области.

И бросив Лурд, он снова возвращается к своим будущим творениям и уверяет, что охотно в течение года писал бы хронику в «Фигаро» что у него есть, что сказать о господине де Вогюе<sup>1</sup> и прочих.

Среда, 17 августа. В поезде, по пути в Сент-Гратьен, в тот самый момент, когда газеты сообщают об улучшении здоровья Мопассана, Ириарт передает мне разговор, который был у него на этих днях с доктором Бланш.

Мопассан, по словам доктора, целые дни говорит с воображаемыми собеседниками и исключительно с банкирами, биржевыми маклерами, с денежными людьми. Доктор Бланш добавляет: «Он больше меня не узнает, он называет меня доктором, но для него я первый попавшийся доктор, а не доктор Бланш». И он нарисовал печальный

<sup>1</sup> Вогюе (де) Мельхиор (1848—1910) французский писатель, автор книги о русском романе.

облик Мопассана, сказав, что у него сейчас лицо как у настоящего сумасшедшего, с блуждающим взглядом и обмякшим ртом.

### 1893

Четверг, 23 февраля. Маллармэ, когда его очень осторожно спросили, не стесняется ли он сейчас быть еще более недоступным, чем во всех своих первых произведениях, признался своим спокойным голосом, который, как сказал кто-то, «бемоллизирован иронией», что «он рассматривает стихи, как тайну, к которой читатель сам должен подобрать ключ».

Пятница, 21 июля. Швоб<sup>1</sup> пришел к нам сегодня со стихами американца Уитмена, которого он сейчас переводит. Он перевел нам тут же *à l'ivré ouvert* «Дом мертвых в городе», произведение своеобразно поэтическое, о трупке проститутки, произведение фантастического лиризма, от которого отправляется Метерлинк.

Между прочим он нам рассказал, что Мопассан большую часть своих новелл писал на основе рассказов самых разнообразных людей. И он утверждает, что сюжет «Орля» был дан ему Порто-Ришем<sup>2</sup>, который очень обеспокоился, когда в его присутствии кто-то обнаружил в этой новелле начатки безумия Мопассана; Порто-Риш не удержался и воскликнул: «Если эта новелла сумасшедшего, то сумасшедший-то ведь я!»

Воскресенье, 1 октября. Поль Алексис<sup>3</sup>, возвратившись с юга, рассказал мне, что он посетил мадам де Мопассан, и она в разговоре, который длился с часу до шести, среди прочего сказала о похоронах своего сына: «Я очень хотела, но я не могла приехать в Париж... но я написала, чтобы его не хоронили в свинцовом гробу... Гюи хотел после смерти слиться с Великим Целым, с Матерью-Землей, а свинцовый гроб задержал бы это слияние... Его всегда очень заботила эта мысль, и он высказал ее в Руане, на похоронах несчастного Флобера... Нет, болезнь его не наследственная... У его отца был суставной ревматизм... у меня болезнь сердца... у брата

<sup>1</sup> Швоб, Марсель (1867—1905) — французский писатель и критик.

<sup>2</sup> Порто-Риш, Жорж (1849—1930) — французский драматург.

<sup>3</sup> Алексис, Поль (1847—1901) — французский писатель, натуралист.

его, о котором говорили, что он умер сумасшедшим, был солнечный удар, потому что он обычно обходил свои плантации в маленькой и слишком легкой шляпе».

Потом мадам Мопассан рассказала Полю Алексису о последних месяцах жизни ее сына. За год до смерти он написал ей письмо, примерно такого содержания: «Врачи говорят, что у меня малокровие мозга, у меня не малокровие мозга, а просто я устал, и доказательство этому то, что я начал сейчас «Ангелос» и никогда я не работал с подобной легкостью, я чувствую себя в этой книге, как в своем собственном саду. Я не знаю, будет ли моя книга шедевром вообще, но моим шедевром она будет».

Вторник, 10 октября. Завтрак с Саррой Бернар у Бауэра, который очень любезно взялся быть посредником, чтобы уговорить ее играть «Фостину».

Входит Сарра, одетая в светло-серое платье, обшитое золотым суташем, широкое, ниспадающее до полу, наподобие туники. Бриллианты только на ручке лорнета, которая вся ими усеяна, на голове кушочек черных кружев, похожий на почную бабочку, и под ними вздымается ее шеволюра, подобная неопалимой купине, и блестят прозрачно синие зрачки в тени черных ресниц.

Садясь за стол, она жалуется на свой маленький рост, и на самом деле, у нее недлинные ноги, как у женщины Возрождения; она все время сидит боком на кончике стула, совсем как маленькая девочка, которую посадили за стол со взрослыми.

И сразу же живо, с увлечением, с блеском начинает рассказывать историю своего турне по всему миру, сообщает любопытные подробности: после анонса о ее будущих гастролях в Соединенных Штатах, анонса, который всегда делается за год вперед, туда была выписана целая партия преподавателей французского языка, чтобы тамошние молодые люди и мисс были в состоянии понять и следить за пьесами, в которых она будет играть. Потом, как ее обокрали в Буэнос-Айресе. Восемь человек, составлявшие ее стражу, были усыплены и ничего не слышали, а чтобы ее разбудить, ее пришлось стащить с постели, и ее собака спала целых три дня.

Я сижу рядом, совсем рядом с Саррой, и у этой женщины, которой уж под пятьдесят, такой цвет лица — она совершенно не подкрашена, даже не напудрена — такой

цвет лица, как у молодой девушки, юный румянец и кожа тонкая, нежная и странно прозрачная на висках, через которую просвечивает сеть маленьких голубых жилок. Этот цвет лица — цвет второй молодости, говорит Бауэр.

Несколько минут Сарра рассказывает о своем режиме, о гирях по утрам, о часовой горячей ванне, которую она принимает каждый вечер. Потом она переходит к описанию людей, которых она знала, с которыми встречалась, — Рошфора, Дюма-сына и т. д.

В этой женщине, бесспорно, есть врожденный шарм, желание нравиться не притворное, а естественное.

## 1894

Воскресенье, 25 февраля. Ренье, которого мы спросили о его друге Поле Адане, сказал нам, что это толстяк, сангвиник, у которого даже мечты не созерцательные, а активные, и превознося литературные заслуги Поля Адана, Ренье объявляет, однако, что у него оккультизм первенствует над литературой.

Воскресенье, 10 июня. По поводу «Дома Телье» Тудуз рассказывает, что на похоронах Мопассана он ехал в одной карете с Гектором Мало, который сказал ему, что это он дал Мопассану сюжет этой вещи, но тот испортил то, что Мало ему рассказал, закончив новеллу праздником, тогда как на самом деле бандерша сказала своим девушкам: «Ну, сегодня будете баиньки одни».

## 1895

Воскресенье, 13 января. Интересно знать, существует ли еще богема, настоящая богема, как во времена Мюрже? Не думаю; однако Роденбах утверждает, что есть еще в нашей среде люди, без стыда подыхающие с голоду, подобные псам, бродящим вокруг казарм, и которые в назначенный час приходят разделить с Верленом его больничный обед.

Пятница, 8 февраля. На обеде у издателя Фаскеля я говорю с Золя о его романе «Рим», в огромных черновиках которого он, по его собственному признанию, немного запутался; он объявляет, что в отношении этой книги он не чувствует храбрости, как было с другими. Кроме того, он, работающий всегда по утрам, теперь

встает только в одиннадцать часов из-за невралгических болей, которые в час дня сменяются отчаянной зубной болью. Наконец, он занят тремя процессами: процесс о диффамации из-за «Лурда», процесс с Бразилией, уж не знаю по поводу какого грабежа, и процесс с газетой «Жиль Блаз», где он еще не получил ни гроша из пятидесяти тысяч франков, которые ему следуют за «Лурд».

Потом он снова заговаривает о «Риме» и признается, что когда он был там, он мысленно призывал смерть папы, призывал зрелище конклава, который он как раз описывал в романе, пользуясь очень эффективным и очень драматическим материалом.

Воскресенье, 3 марта. Сегодня вечером празднество, которое любезно дают в мою честь супруги Шарпантье.

После обеда, на диване, справа от каминна, в кабинете, который можно назвать уголком Золя, Додэ, Гонкура, разговор идет о красноречии, о речах Пуанкаре, Клемансо.

В одиннадцать часов Сарра Бернар, облокотившись о мраморный камин в большой гостиной, читает небрежно своим золотым голосом, глядя через лорнет, «Посвящение Эдмону де Гонкур», написанное поэтом Робером де Монтестью.

«Сгупая вкрадчиво, как белый  
строй павлиний  
В мечтах Фостины предо мной  
скользят,  
Твоих чарующих творений  
героини:  
Рене и Марты и Манеты взгляд!»

И в то время как Сарра читает стихи, я слежу за ними по экземпляру, каллиграфически написанному самим Монтестью и раскрашенному Карюше, где на замшевой бумаге нежные белые перья павлинов, тонко выведенные гуашью, похожи на филигранные знаки самой бумаги.

Я благодарю Сарру, которая стоит в своем идолическом одеянии и исполнена неуловимого очарования античной волшебницы.

Четверг, 27 июня. Обед с Роденбахом у Вуазена. Роденбах говорит мне, что воспитывался в школе иезуитов, откуда его хотели исключить, потому что он, совсем еще мальчишкой, написал что-то о любви,

потом девятнадцати лет он приехал в Париж, где бедный мальчик от литературы, почитатель Леконт де Лиля, вынужден был сносить все его грубости.

Потом он рассказывает, как он присутствовал при заключении договора между Верленом и издателем Ванбером. Издатель не хотел давать Верлену больше двадцати пяти франков за несколько стихотворений, которые он только что написал, а Верлен настаивал на тридцати франках. Конец спору был положен Верленом, который, держа наготове расписку в одной руке, отдал ее только тогда, когда в другую руку ему положили наполеондор и две монеты по сто су, и воскликнул: «Поганый Баденгэ<sup>1</sup>, и две швейцарские монеты».

И когда Роденбах поздравил его с победой: «Нет, нет,—воскликнул тот,—я бы ни за что не уступил, мне бы устроили сцену»,—намекая на властную женщину, с которой он жил.

Среда, 30 октября. Я обедал на улице Берри с одним русским, он говорил мне о Толстом, с которым они знакомы семьями.

Он рассказывал мне, что это сумасшедший, который чрезвычайно быстро меняет свои мнения. Однажды, увидев у своей тещи номер «Ревю де дэ Монд», он воскликнул: «Этот журнал — неподходящее чтение...—не надо, чтоб его читала ваша дочь». Через некоторое время он спросил у нее же, читала ли ее дочь «Анну Каренину», и когда та ответила, что это не чтение для молодой девушки, он стал ей доказывать, что молодая девушка должна знать все, чтобы уметь вести себя в жизни.

Другой раз Толстой, после долгой анафемы алкоголю, садясь за завтрак с господином, с которым он беседовал, приказал подать водки. Тот напомнил ему разговор, который был час назад. Толстой сказал, что «не его дело противиться злу». Тогда к чему же была эта проповедь?

Пятница, 29 ноября. Да. Это так. Я роюсь в своих воспоминаниях и не нахожу в себе за все молодые годы никакого желания стать первым, мне хотелось только жизни независимой, чтобы я мог лениво заниматься искусством и литературой, но заниматься в качестве любителя, а не каторжника славы, как это получилось.

<sup>1</sup> Баденгэ — прозвище Луи Наполеона III.